

"Ночные летотисы"

Геннадия

Доброва

Книга первая



Геннадий Добров

«Ночные летописи»

Геннадия Доброва. Книга 1

«У Никитских ворот»

2016

УДК 7.071.1
ББК 85.143(2)

Добров Г. М.

«Ночные летописи» Геннадия Доброва. Книга 1 / Г. М. Добров —
«У Никитских ворот», 2016

«Ночные летописи» записывались на диктофон народным художником России Геннадием Михайловичем Добровым в начале 2006 года. Почти полная слепота его продолжалась более полутора лет, но после нескольких операций зрение частично восстановилось. Это было за пять лет до кончины. А тогда, в отчаянные зимние ночи 2006-го, теряя надежду снова видеть окружающий мир, художник обретает новый дар – он начинает задушевно и талантливо рассказывать о своей жизни. И эти воспоминания о далёком послевоенном детстве, об учёбе в Москве, о работе милиционером, санитаром, о поиске своих путей в искусстве – не могут не вызывать то горячего сочувствия, то грустной улыбки, но всегда – искреннюю симпатию к автору, к благородным порывам и мужественным поступкам этого незаурядного мастера с его удивительной судьбой. При работе над книгой вдова художника сочла необходимым сохранить последовательность аудиофайлов с обозначением дат их записи.

УДК 7.071.1
ББК 85.143(2)

© Добров Г. М., 2016
© У Никитских ворот, 2016

Содержание

Глава 1	7
Глава 2	12
Глава 3	25
Глава 4	34
Глава 5	44
Глава 6	69
Глава 7	81
Глава 8	87
Глава 9	101
Глава 10	113
Глава 11	116
Конец ознакомительного фрагмента.	122

Геннадий Добров

«Ночные летописи»

Геннадия Доброва. Книга 1

На внешней стороне обложки использована литография Геннадия Доброва «Юный художник». Форзац и нахзац построены на photographиях мастерской художника, где происходили аудиозаписи «Ночных летописей».

Посмертный сайт художника: <http://gennady-dobrov.ru>

© Добров Г.М., наследники, 2016

© ИПО «У Никитских ворот». Оформление, 2016

* * *

«Ночные летописи» появились благодаря самым трагическим обстоятельствам в жизни художника. К началу 2006 года он практически ослеп. Это стало следствием и диабета, и гипертонии, и нескольких тяжёлых поездок в Афганистан... Он потерял возможность работать на холсте, рисовать на бумаге, писать ручкой, самостоятельно передвигаться по улице. Это было невыносимо мучительно для его деятельной натуры. К тому же наша мастерская на Таганке, где мы жили, не отапливалась уже несколько лет, и согреться приходилось печками и грелками.

И тогда пришла мысль о записи воспоминаний на диктофон. Был куплен цифровой диктофон, освоено управление... включение-выключение. Записи проходили в морозном январе-феврале по ночам, в полной тишине, темноте и одиночестве. Художник лежал, обложенный грелками, бутылками с горячей водой, укрытый одеялами и шубами. Он был наедине со своими дорогими воспоминаниями... Рассказывая, он переживал и плакал, иногда смеялся, иногда, вспоминая что-то, напевал... После каждого такого ночного сеанса давление у него зашкаливало.

Он сам назвал эту работу «Ночные летописи». Общая их продолжительность 163 часа – это повесть обо всей его жизни. Расшифровывая эти записи уже после ухода художника, я снова слышала родной голос, проникалась его мыслями и чувствами. Он по-прежнему был рядом...

Людмила Доброва



Глава 1

04 января 2006 г.

Предисловие художника. О незавершённых картинах, о глазном центре Фёдорова, о своей слепоте, диабете и давлении.

Начинаю долгожданную запись воспоминаний, о которой давно мечтал. Я сегодня подумал, что хорошо бы записывать наши разговоры за столом с Люсей, потому что когда мы разговариваем, такой диалог получается, как бы ответы на вопросы. Лучше получается, естественнее. Непроизвольные разговоры на самые разные темы, но в то же время они не построены специально, а возникают неожиданно.

Я лежу в постели, уже ночь. Мне 69-й год. Сейчас начало года, 4-е число, я даже забыл, что в это число месяца мы познакомились с Люсей в апреле 1973 года. С тех пор каждый месяц она вспоминает это число – день нашего знакомства – и старается делать мне какой-нибудь подарок. Сначала, когда мы были молодые, подарки были более существенны, а сегодня я вообще забыл об этом дне. А Люся только ночью уже, когда я лежал, принесла мне тарелочку тыквенной каши с ложечкой и говорит: давай будем тренироваться, как я буду тебя кормить, когда ты совершенно потеряешь силы. (Это будет, может быть, даже скоро.) Но пока что я ещё сам кушаю, сам хожу по комнате, хожу даже во двор к нашей собачке Марте, зову её, когда холодно, в комнату, чтобы она погрелась, и подхожу всякий раз с утра к своей картине.

У меня там сейчас четыре картины стоят незавершённые, это вот в длинной части мастерской, которая имеет высоту, наверно, метров пять, и освещена верхним светом. Но сейчас зима, света верхнего мало, поэтому я включаю две лампы, чтобы осветить начатую картину. Она продолговатой формы, на ней изображена сцена первого послевоенного года. У меня тут краски, кисти как бы готовы, чтобы я писал, но я стал плохо видеть, я совершенно не вижу, что я пишу на картине. И это несмотря на то, что две лампы освещают с двух сторон место, которое я хочу писать. Вернее, я уже там пишу, я уже давно её пишу, наверно, с осени, или даже с весны, забыл уже. Но я переделываю разные места, я хочу их лучше сделать, но ничего не вижу. Не могу различить там никакие детали, хотя совсем недавно я писал картину каждый день. Писал и переписывал. Я даже сидел посреди мастерской на стуле, метрах в двух, наверно, или в трёх от картины, и видел её всю, она такая длинная. И всё сравнивал там, где светлее, где темнее, где что переделать. Но, к сожалению, последнее время что-то зрение совсем у меня упало, и я не знаю, что делать. Восстановится оно или нет, я не знаю.

Сейчас мне очень трудно, картину я совсем не могу писать. Сначала я вообще ничего не делал, потому что я был так растерян, я не ожидал такого положения, что не буду видеть. У меня всегда было 100 %-ное зрение, с самого детства, я никогда не жаловался на зрение, видел очень далеко, даже на луне видел горы. И очень любил рисовать детали, травинки разные, пейзажи, в общем, я очень тонко рисовал. Я не только хорошо видел, но я даже лупой пользовался, чтобы под лупой нарисовать иголкой офорты, мельчайшие детали, потому что если лупу убрать, то там вообще ничего не видно. Но я всё это делал и потом травил кислотой. У меня всё получалось на удивление всем, люди удивлялись, как я тонко вижу мельчайшие детали. Так что теперь потеря зрения меня очень расстроила. Я совершенно прекратил рисовать и только ходил по больницам.

Я ходил в знаменитый институт глазной микрохирургии Фёдорова. Пришёл туда, стал рассказывать, что я теряю зрение, не вижу, что у меня расплываются предметы. Я и раньше был в этом институте после поездки в Афганистан в 2001 году. Тогда я приехал из Афганистана в Москву и вдруг почувствовал, что меня ослепляют белые предметы на улице. В ком-

нате я нормально видел, но когда выходил на улицу, то у меня в глазах буквально вспыхивали все светлые кофточки женские, рубашки мужские (это летом было), даже пачка сигарет, лежащая на асфальте, она прямо горела белым каким-то ослепительным сиянием.

Я тогда пошёл в этот институт Фёдорова, и там стали меня смотреть, расширять мои зрачки, то один врач, то второй, то третий. В общем, может быть, потом я подробнее об этом расскажу, но всё это ничем хорошим не кончилось. В результате мне только сожгли сетчатку на правом глазу и сказали... через полгода приходи, на левом глазу сделаем то же самое. – Я говорю: ну уж спасибо. Я художник, я берегу глаза для рисования, и мне небезразлично, что вы тут надо мной будете делать. Поэтому я больше не приду к вам.

Но, тем не менее, когда я стал уже слепнуть, то я пошёл туда снова. И опять меня посылали от одного врача к другому, к третьему, на исследования, на сдачу всех предварительных анализов, и в результате сказали мне, что ничего делать не будут, потому что лучие не станет. Ну, бесплатно, такое и отношение, может быть, никто из-за этого и не хотел браться. В общем, вернулся я обратно ни с чем, только лишний раз ослепили меня там, когда смотрели. Так что до сих пор у меня перед глазами эти яркие огни.

И вот я сейчас в таком состоянии. Пока я ходил, лечился, пытался что-то сделать, я всё надеялся, что я картину ещё смогу написать. Потом, уже ничего не видя, всё равно пытался, искал краски. Так примерно я знал, где какие краски лежат, где чёрная, где белая, где красная, где охра. Я выдавливал эти краски, но я не видел уже их на палитре. Тогда я поднимал эту палитру, подставлял к своим глазам и на уровне глаз направлял на лампу. И когда лампа освещала, от этих красок на палитру падали тени, и тогда только я видел, где какие краски находятся. И вот так, на ощупь, я, значит, кисточкой протирал эти места на картине, где я хотел писать. Но я уже не представляю, что я там нарисовал, потому что и краску я не видел. Но всё это я делал в надежде, что потом, когда буду видеть лучие, переделаю, потоньше всё сделаю. А пока я хотел переделать только композицию. Вообще я эту картину «Воспоминания о коммуналке» задумал лет пятнадцать назад. Я её писал сначала на большом холсте, 3 м длиной, 1,5 м шириной, но это вообще отдельная история. Мне так нравилось её писать, я с таким удовольствием работал над ней. Но потом приходили сомнения, переделывал, менял фигуры. В конце концов лет через пять я её подал на выставку в Манеж, она висела там. Но когда я её привёз домой, то снова стал переделывать. И в результате дело дошло до того, что там уже от первоначального замысла вообще ничего не осталось, уже другая получилась композиция. И вот эта неоконченная большая картина тоже стоит у меня на мольберте.

С другой стороны в мастерской ещё одна картина стоит, тоже с такой же судьбой. Но вообще все эти бесконечные изменения в картинах я отношу на счёт какой-то своей самоуверенности в том, что я успею всё нарисовать, что у меня время есть, я всё это сделаю, приведу в порядок. Но вот судьба распорядится совершенно по-другому. Теперь я даже не знаю, смогу ли я это всё когда-нибудь сделать или это всё так останется, никому не нужное.



Воспоминания о коммуналке

В процессе работы конец виден только одному автору, и такие незаконченные картины, конечно, хранить никто не будет, они неинтересны никому. Так что вот в таком состоянии я каждое утро подхожу к картине, смотрю на неё и понимаю, что ничего у меня в глазах не меняется, картину по-прежнему не видно.

Глаза слепнут от диабета, который давно у меня обнаружили, но всё равно я его не лечил, таблетки манинил не пил и продолжал кушать сладкое. Я вообще с детства люблю сладкое. Сладкую воду мне и Люся делала. Я простую воду не пил, а всё только вот эти разбавленные сиропы разные, то из мёда, то из малины, то из смородины, то из всяких ягод. Потом сами ягоды, пересыпанные сахаром, ел, мороженое, пирожное, все сладкие вещи мне очень нравились. А в это время у меня развивался активный диабет.

Впервые я столкнулся с этой слепотой, когда поехал в Кострому рисовать в психиатрической больнице душевнобольных, такую серию я задумал, «Душевнобольные России». Мне давали в Министерстве здравоохранения просьбы к местным главным врачам, чтобы они меня приняли в свои апартаменты, дали комнату, кормили бы меня, а я бы там работал. И, в общем, все эти просьбы исполнялись, и я сделал 57 больших рисунков. Я рисовал в палатах, рисовал в самых тяжёлых изоляторах, где койки даже привинчивались к полу. Кроме единственной койки, там ничего не находилось, а вместо окна для проветривания там была вентиляционная труба. В разных больницах я рисовал.

Вначале мне казалось, что я слегка не вижу, как бы незаметно слепота подбиралась. Но вот когда я работал в костромской психиатрической больнице, то как-то раз я пошёл кушать в столовую из своего корпуса. Смотрю (а это был разгар лета) и думаю... что такое, что за снег, откуда взялся снег? А там трава такая некошенная, высокая стояла и дорожка шла. И вот я иду и вижу, что всё белое – белая дорожка, белая трава, белые даже мои ботинки. Я думаю, что это со мной? Вот тут я первый раз понял, что с глазами у меня творится что-то невероятное.

Кое-как я доработал, всё-таки три или четыре больших рисунка я там сделал. Потом насили добрался до Москвы. В Москве, когда я ехал с вокзала один, я ещё свой большой планшет вёз на тележке и рюкзак. И вот я из метро вышел, по Товарищескому переулку везу эту тележку, а передо мной всё белое, я ничего не вижу. А Товарищеский переулок узкий, тут машины едут с большой скоростью, а я планшет на этой двухколёсной тележке тоже везу

по дороге из последних сил. В общем, какая-то женщина подошла ко мне и спрашивает: куда вам его везти, давайте я помогу. (Я уже даже не сопротивлялся.) Она схватила эту тележку и повезла вперёд. А я позади шёл, спотыкался, на всё натыкался. Наконец пришли. У меня мастерская на Товарищеском переулке, дом 31, строение 6, это домик, три маленьких окошечка...

Я Люсе говорю: Люсь, я слепну, я не знаю, как я буду дальше работать. Посмотри в книжках, что я должен пить, какие лекарства, какая диета должна быть.

И вот она пошла купила мне манинил, чтобы я пил. И, кроме того, она прочитала о диете, многое нельзя есть при этом заболевании. И она начертила схему, что нужно кушать каждый день: с утра апельсин, потом кашу, в общем, овощная диета. Потом я поехал в аптеку (я тогда ещё всё-таки мог ходить, видеть) на Кутузовском проспекте и купил глюкометр для измерения сахара в крови. Норма 4, 5, 6. А когда мы померили этим прибором сахар у меня в крови, то оказалось 22, и ещё там было написано «кетоны» по-английски. Кетоны – это значит, уже идёт разложение в крови, в общем, что-то такое смертельно опасное.

И тогда мы решили, что я буду кушать только так, как рекомендовано в книгах по диабету. И, наверно, через неделю опять померили сахар в крови. Получилось уже 10, снизился сахар. Потом я исключил совершенно сахар и всё сладкое из употребления. И когда ещё через неделю мы померили сахар, то было почти в норме. То есть мы одной диетой сбавили вот это огромное напряжение в глазах и в крови.

После этого я ещё ездил в разные города рисовать, думал, что у меня всё нормально, что с диабетом я справился. Но совершенно неожиданно, когда я возвращался из Благовещенска, вдруг я почувствовал себя очень плохо прямо в поезде. Меня тошнило, и появилась слабость.

Приехал в Москву. Эта слабость уже у меня была постоянно и сопровождалась каким-то головокружением. И, в общем, я только-только добрался до дому, прилёг на кровать и чувствую, что у меня комната как-то начала крутиться по часовой стрелке. Я испугался, мне показалось, что я куда-то лечу и сейчас упаду. Стал держаться за кровать, вроде оставалось головокружение. А когда хотел подняться, то голова опять закружилась.

Сначала всё этим ограничилось. Но ночью, когда тихо и я лежал, то вдруг куда-то начал катиться потолок, и появлялся в ушах звон, а иногда и стук какой-то. Тогда я сказал Люсе: купи от головокружения таблетки. (Она мне купила циннаризин.) Я стал пить циннаризин.

Я ещё находился на учёте у эндокринолога в поликлинике, где наш дом на Ленинградском проспекте (а живём мы сейчас в мастерской на Таганке), мне эндокринолог там выписывал манинил. И когда я как-то возвращался оттуда, я вдруг сильно упал и ударился грудью о край глинистого бугра. Я почувствовал, что мозги у меня как-то стряхнулись, я даже испугался. Но всё-таки я встал, было ещё светло, я потихонечку пошёл на остановку и поехал обратно в мастерскую.

Приехал, рассказал Люсе. И вдруг чувствую, что опять у меня голова закружилась, и я снова стал хвататься за все предметы. А вскоре ещё началась рвота. И она меня выворачивала наизнанку, продолжалась до самого вечера и всю ночь. А утром я уже лежал обессиленный. Люся стала мне мерить давление – 250. Она испугалась, вызвала скорую помощь.

Скорая помощь приехала, ещё раз померили – 275. У меня началась сильная дрожь во всём теле и стучали зубы. Врачи говорят... это предсмертная дрожь. (То есть организм не выдерживает давления.) Они мне сразу же сделали укол. Не знаю, что они ввели в меня, но постепенно эта дрожь прекратилась. Они говорят срочно в больницу, срочно в больницу. (А у нас тут такие закутки, тесно, дверей много, узкие проходы.) Они меня положили на какую-то ткань, шесть человек взяли и потащили в машину.

Привезли в 6-ю Градскую больницу, где я когда-то работал санитаром. Положили в коридор. И первое время было то же самое, что дома, то есть я не мог оторвать голову от

подушки, такая она была тяжёлая. Потом постепенно, постепенно пошло улучшение... но я там, конечно, не долежал до конца. Чуть только стал себя лучше чувствовать, я попросил Люсю забрать меня домой.

А домой пришли – несколько не лучше, опять рвота. И вот с тех пор у меня как бы две болезни, это глаза (диабет) и давление. Сейчас у меня давление по утрам, когда просыпаюсь, 200, 210, 220, 230, 240, 230... в разный день по-разному, но всегда за 200. И от этого давления можно легко получить инсульт или инфаркт, в общем, его надо сбивать.

Люся даже составила список наших знакомых, у которых давление, и кто что пьёт. И оказалось, что все знакомые пьют разные таблетки. Но я пью клофелин, про который мне сказала одна врач в Магадане, где я рисовал.

Вот такая ситуация у меня на сегодняшний день и на сегодняшнюю ночь, такое моё состояние. И я не знаю, будет ли мне лучше, или хуже будет, ничего я не знаю.

Глава 2

05 января 2006 г.

Инсульт у Ариэля Шарона. Начало летописей. Раннее художество. Род матери. История семьи отца. Встреча родителей в училище. Психбольница. Появление на свет. Измена отца.

Вторая ночь наступила. Я, наверно, так и буду говорить ночами, потому что днём отвлекает много всевозможных событий. Утром давление было 200, в 5 часов давление 230. Потом выпил клофелин, это уже вторая таблетка, и запил кордиамином, лекарством от сердца. Только что передали сообщение, что Ариэль Шарон, премьер-министр Израиля, получил обширный инсульт. Наверно, это и меня ждёт, потому что с таким давлением долго не проживёшь, рано или поздно это случится. Жизнь моя складывается сейчас очень однообразно, в то же время всё более и более безнадежно, потому что сегодня снова подходил к картине несколько раз и опять ничего не видел. Люся закапывает мне в глаза раствор мёда, но это не особенно-то помогает. Она мне купила этот диктофон для того, чтобы я хоть как-то заполнял время бессонных ночей рассказами о событиях своей жизни. Потом по этим фрагментам можно будет составить что-то типа «Воспоминаний художника», потому что мои рассказы – это, конечно, воспоминания художника.

Родился я в Омске в семье художников. Отец в это время был студентом училища имени Врубеля в Омске, мать училась там же. Они сняли комнатку, старую халупу, на заливном лугу реки Омки. И однажды, меняя мне, новорожденному, пелёнки, мать обнаружила карандаш. Поэтому впоследствии она рассказывала всем, что я родился с карандашом.

«Рисовать» я начал тоже очень рано, но в основном портил журналы, выводил круги, держа карандаш ещё, видимо, в кулачке. На листах журналов «Творчество» и «Искусство», которые выписывал до войны отец, изображался Дворец Советов в иллюминациях. Это были ещё проекты, которые везде печатались, и я на этих красивых фотографиях рисовал свои чёрные круги, как бы закрашивая их. Отец долго хранил эти мои первые художества, почти до самой своей смерти. Но тут, конечно, надо рассказать, кто были мои родители.



Юная мать

Отец моей матери (мой дедушка) был родом из Вятки. Тогда, во времена Горького, многие подражали писателю тем, что просто ходили по Руси. Горький сам скитался по Волге, по Украине, по Кавказу, а другие люди ходили по своим краям. Появилось много таких добровольных ходоков по всей Руси Великой. Люди ходили часто без денег, от села к селу, от двора к двору, где подрабатывали, где просто им подавали.

Но не всегда эти люди были самыми бедными.

Вот отец моей матери, видимо, происходил из какой-то состоятельной семьи, потому что из Вятки он пошёл на Восток через Уральские горы, через Сибирь (по-моему, он шёл по Сибирскому тракту). И дошёл до Благовещенска.

Благовещенск – это город, который расположен на самом берегу Амура, на другой стороне этой реки видна уже китайская территория. И что-то моего деда остановило в этом Благовещенске, дальше – на Владивосток – он уже не пошёл. Устроился в городе на работу бухгалтером. У него, видимо, была крепкая жизненная хватка, он умел зарабатывать деньги. И в Благовещенске, на одной из улиц, уже через какое-то время он приобрёл подряд шесть одноэтажных домиков. В одном жил сам, а остальные сдавал внаём. Вскоре ему понравилась девушка, дочка приходского священника Скрябина. Сам священник служил ещё в двенадцати деревенских церквях вокруг города, но те приходы работали лишь по праздникам.



Прибытие переселенцев

В юношеские годы (мои годы странствий) я много ездил по России. Я побывал в Благовещенске и даже разговаривал там с людьми, которые помнили моего прадеда, вот этого священника Скрябина. Говорили, что он был рыжий, невысокого роста, очень приятный человек. Тогда же мне рассказали, что в центре Благовещенска стоял его двухэтажный дом, низ каменный, верх деревянный, окружённый большим двором и сараями. Мой дед (который из Вятки, по фамилии Колотов) и дочка священника Скрябина познакомились и сыграли свадьбу. И в качестве приданого священник подарил им ещё шесть деревянных домов на той же улице.

Таким образом, все эти дома сдавались внаём. А сами молодые жили в большом светлом доме с обширным зелёным двором. Жили они состоятельно, имели прислугу.

У них стали появляться дети. Старшая тётя Маруся (мамина сестра), потом дядя Коля (мамин брат). И моя мать, которая родилась в 17 году. Когда пришла в Благовещенск советская власть, дед мой (Колотов), оценив ситуацию, сам пошёл в революционный комитет и отдал свои одиннадцать домов в пользу революции, но попросил оставить ему с семьёй один большой дом. Там они и жили. В родительском доме моей матери было много красивых вещей, которые могли принадлежать только состоятельным людям. До сих пор у меня висит на стене фарфоровая разделочная досточка, на которой изображена девушка, качающаяся на качелях среди цветов. Потом ещё мать хранила сумочку для ниток и для пуговиц, расшитую бисером, с большими бантами по краям (это ей досталось от матери, дочери священника). Видимо, дом их был полон таких безделушек.



Семья матери. Мать – девочка впереди

Дети выросли. Но в начале 30-х годов моя бабушка (дочка священника Скрыбина) заболела раком и умерла. И тогда муж её (мой дед из Вятки) женился вторично на своей молоденькой прислуге, которая была в возрасте моей матери. Тётя Маруся (старшая сестра моей матери) была возмущена таким поступком своего отца. Она его прокляла и уехала учительствовать в город Спасск-Дальний в Уссурийском крае. Дядя Коля поступил в военное училище на Кавказе, а моя мать сдала экзамены в художественное училище Благовещенска.

В стране в 30-е годы царил разор. Голод был и в центре России, и на Украине, и на Дальнем Востоке. Преподавателям в Благовещенском художественном училище перестали выдавать зарплату, и училище оказалось под угрозой закрытия. Тогда педагоги собрали учеников, объяснили им ситуацию и дали адреса художественных училищ в других городах (для перевода в случае договорённости). Моя мать, как и все, стала писать письма в училища разных городов и получила приглашение из Омска, из художественно-театрального училища имени Врубеля. Таким образом, мать тоже покинула Благовещенск и уехала в Омск. Стала там жить в общежитии.



Дед по отцу. 1914 год

Расскажу об отце. Отец мой был потомком крестьян из-под города Днепропетровска, выходцев с Украины. Ещё задолго до революции они большими семьями переселялись в Сибирь в поисках лучшей доли, потому что на Украине не хватало земли. Вот эти переселения беднейших крестьян с Украины в Сибирь хорошо описаны ещё у Лескова в его рассказах. А у художника Иванова есть трагичная картина «Смерть переселенца» (зной посреди степи, умер хозяин, остались дети, жена).

Но надо сказать, что эти семьи объединялись в общину и, прежде чем переселяться всем, посылали вперёд гонцов. Гонцы ездили, всё узнавали, потом возвращались. И тогда уже ехала вся община на телегах с лошадьми, в цыганских кибитках, на волах (с детьми и стариками).

И вот семья отца добралась до села Чистюнька на Алтае в Топчихинском районе. Село находилось на берегу небольшой реки Алей в уютном, красивом месте. На этом песчаном

берегу они и разместились. На другой стороне этой речки стояла роща, щебетали птицы. Место было ровное, дома строили в ряд, образуя улицу. А дальше шли бесконечные просторы ровной непаханой земли.

Мой дед Гладунов Фёдор Никитич был украинец, имел русскую жену и маленького сына (моего отца). Вскоре молодая жена умерла, видимо, надорвавшись на тяжёлой крестьянской работе. Но в крестьянстве долго не тужат. И дед взял себе новую жену из другого села, где жили такие же переселенцы, они родили ещё восьмерых детей. Так что семья была большая. Но отец мой, родившийся от первой жены, чувствовал себя сиротой, хотя его и не обижали. Зато его очень жалели родственники его родной матери Фатины, когда он прибегал к ним в соседнюю деревню Зимино. Очень рано, лет с семи, отец мой уже работал в поле. Однажды он упал с лошади, и лошадь наступила ему на голову своим передним копытом. Как-то отец сумел закрыться и избежать большой травмы, но на всю жизнь у него остался шрам на губе от удара лошадиной подковы.

Отец был очень способный и хорошо учился. В селе Чистюнька имелась школа, но учителей не хватало. И когда отец учился в седьмом классе, то его уже попросили преподавать в первом классе в этой же школе. В его семье симпатизировали новой власти, некоторые родственники являлись партизанами (край был партизанский), и так же воспитали отца. Он стал на всю жизнь убеждённым коммунистом. На войне он был политруком в армии, после войны долго являлся секретарём парторганизации в омском Союзе художников.

Я не знаю, как обнаружили у отца способности к рисованию. Возможно, кто-то посоветовал ему, или он сам что-то узнал. В то время было очень много призывов к молодым людям, чтобы они шли учиться, печатались адреса, куда ехать. И он узнал, что в Омске есть художественное училище. Отец приехал в Омск с фанерным чемоданчиком, который закручивался на проволоку, такой восторженный юноша, бедный, конечно, до крайности. Тут ему дали общежитие (так же, как и моей матери). И он начал учиться.



Отец-студент

Это было время больших колебаний в искусстве. Многие считали, что революция должна быть не только в политике, но и в искусстве, и в музыке, и в науке. В искусстве революция провозглашалась в отказе от величайших достижений прежних веков. То есть декларировалось, что «мы теперь новые люди, мы будем строить новый мир, новое искусство, и нам не нужно искусство передвижников, искусство таких предков, как Суриков, Репин, Серов, Левитан, Поленов, Врубель... ничего этого нам не нужно. Мы создадим новое искусство». И вот они рисовали или точками, или запятыми, кто-то вообще рвал и мял бумагу и на клочках рисовал. Некоторые молодые художники ходили в модных шляпах с длинными шарфами, которые спускались до полу, и считали себя проводниками нового направления в искусстве.

Но отец любил как раз старое искусство, искусство передвижников, искусство Тициана, Рафаэля, Веласкеса, Рембрандта. Училище обладало огромной библиотекой, в которой находилось большое количество альбомов с репродукциями. Были и цветные репродукции, и всевозможные архитектурные, пейзажные, портретные рисунки. В Омском музее тоже хранилось много подлинников. Как это всё там оказалось, я не знаю. Возможно, в Омске оседали музейные богатства, которые переправляли на хранение в Сибирь из богатых усадебных коллекций во время революционных бунтов. Я помню, что с детства уже видел в большом Омском музее и картины в огромных золотых рамах, и коллекции посуды, и дворянскую мебель. Отец тянулся к произведениям великих мастеров прошлого, учился на их технике, хотел походить на них.

Но действительность была другая. В училище требовали «новаторских» кубиков, линий прямых, кривых и учили писать красками кое-как... без колорита, без теней, какими-то огромными плоскостями, то красными, то оранжевыми, то чёрными, и за это ставили пятёрки. А он, в отличие от всех (он мне рассказывал), уходил в библиотеку, брал эти альбомы, смотрел их, перерисовывал и всей душой был с этими старыми художниками. В этом состоял конфликт с

товарищами, которые вели себя по-другому... и стихи читали авангардные, и всячески показывали, что они «новые творцы». Но жизнь есть жизнь, и она потом расставила всё по своим местам. Поиски нового искусства этих художников, которые не могли даже сами себе ответить, зачем всё это нужно, так и остались просто увлечениями юности.

Увлекались в училище не только искусством, там увлекались и друг другом. Мать привезла с собой гитару из Благовещенска и пела совершенно необыкновенные песни, которые я, например, никогда нигде больше не слышал. Это был репертуар дореволюционных каких-то романсов... про фею в реке, про замок царицы Тамары в горах. Мать обладала и приятной внешностью: с вьющимися волосами, и красивым голосом, и живым темпераментом, – и очень выделялась среди своих подруг.

А отец, наоборот, всё время работал, много и хорошо рисовал с натуры. Несмотря на то, что в училище была неразбериха с направлениями в искусстве, он оставался отличником, пятёрочником. Познакомились с матерью они в общежитии. Потом сошлись, но продолжали жить в общежитии. Надо сказать, что у отца, видимо, не было серьёзных намерений в отношении матери. Ну, молодость, кровь кипела, тут и любовь, и искусство, и подруги, и художественная среда... и вскоре мать забеременела.

Но у отца планы были другие. Он хотел поехать в Ленинград, чтобы продолжить образование в Академии художеств. Он считал, что училища недостаточно для серьёзного художника, что нужно обязательно окончить институт. И к этому всё шло. Пять процентов отличников от каждого училища посылались в эту Академию художеств, там их принимали чуть ли не без экзаменов, и они учились дальше. Когда мать почувствовала, что она беременная (это был я), она сказала об этом отцу, спросила: что делать дальше? – А он ответил: что хочешь, то и делай, я на тебе не женюсь, потому что я хочу поехать учиться в Ленинград. А куда я тебя с ребёнком дену? Мне, может, придётся и на крыше туда ехать, и в холод, и в голод, куда я тебя возьму? В общем, нет.

И когда мать это услышала, с ней случился нервный приступ. Она стала кричать, рвать на себе волосы, одежду, всё бросать, швырять. Девочки в комнате её уговаривали успокоиться, но всё было бесполезно. И тогда они вызвали профессора Волкова, чтобы он успокоил её. А тот, не долго думая, вызвал скорую помощь, её увезли в психиатрическую больницу на улице Куйбышева, и там её заперли.

Вся эта история стала известна руководству училища. Они вызвали отца и говорят: разве можно быть хорошим художником и непорядочным человеком? Ты должен жениться на Люсе, иначе ты бросаешь тень на всё наше училище и на наш моральный климат. Если так будет и дальше, то мы тебя никуда не порекомендуем, ни в какой Ленинград. В общем пристыдили.

И тогда он, пристыженный, пришёл к моей матери в психиатрическую больницу. Это он перед смертью уже мне рассказал. Я, говорит, когда её увидел, то не узнал – куда делись красивые кудри? Она была наголо острижена, босиком, в какой-то длинной казённой рубаше с дырами и с кровавыми пятнами. От укулов она уже стала тихая, убитая. И я, говорит, когда её увидел, то мне стало так бесконечно её жалко, что я решил никогда её не бросать.



Родители-молодожёны

И вот они вышли на лестницу, сели, прижались друг к другу, он взял её руки в свои, и так они долго-долго сидели. А мимо них по этой лестнице ходили больные с чашками, с ложками, на обед, потом обратно, какие-то вёдра там таскали по лестнице. Но они ничего этого не замечали. Они только сидели, прижавшись друг к другу, и им было хорошо. И в этом

заклучался их будущий союз, который они пронесли и через тяжёлые предвоенные года, и через испытания войной, и через послевоенные трудности. Всё решилось в эти минуты. Там же с ними был уже и я в животе у матери. Через месяц мать выпустили, отец забрал её. И они стали искать другое жильё, чтобы не жить в общежитии.

Вообще, Омск расположен на слиянии двух рек. Огромная сибирская река Иртыш течёт с Алтайских гор и впадает в Карское море. А Омка – это небольшая, но глубокая речка, она вытекает из сибирских болот. И вот на слиянии этих двух рек когда-то казачьими атаманами была заложена простая крепость, где укрывался гарнизон. Потом деревянную крепость заменили каменной, которая позже превратилась в тюрьму. Когда-то в неё был заточён Фёдор Михайлович Достоевский. Он описал это время в книге «Записки из мёртвого дома». Это величайшая книга, по гуманности я не знаю ничего выше.

В Омске я провёл детство, жил до отъезда в Москву. Но отец ни слова не говорил мне, что там был Достоевский, так как считалось, что произведения Достоевского несут пессимизм и религиозность, чего не нужно советским людям. Советским людям нужен был оптимизм, бодрое смотрение вперёд и преодоление всяческих преград. А у Достоевского как раз преграды преодолевались внутри самого человека, а не коллективом. Сейчас почти ничего не осталось от этой крепости, ни стен, ни казематов, только каменные ворота. Вот я ходил недавно, там стоит один какой-то дом с каменными камерами, но как это выглядело раньше, уже трудно представить. Кругом город с современными домами, с проспектами. Тем не менее великий человек в Омске жил, страдал и писал.

В пойме реки Омки, которая весной разливалась, селились только самые бедные люди. Пойму эту окружали высокие берега оврагов, на них уже располагались городские постройки и с той, и с другой стороны. Некоторые жили на краю оврагов или даже в оврагах, но там по разлогам весной текла вода. И вот на этих глинистых кочках и ямах люди как-то устраивались, возводили самодельные лачужки. Там, конечно, не было ни водоснабжения, ни канализации, а просто появлялся самострой такой, самозастрой.



1941 год

Вода в пойме реки стояла всё лето. Благодаря этому там росли высоченные травы с какими-то голубыми, фиолетовыми и жёлтыми цветами. Чтобы ходить через эти водные пространства, люди прокладывали доски и деревянные тротуары. Домики стояли островками, там были даже улицы. Накопив стипендию, отец купил на Кузбасской улице дом 34, это был сарайчик, сбитый из ящиков, в которых привозили фрукты в магазин. Сарайчик покосился набок, одна стена наклонилась, он её подпёр жердями, чтобы не упала, и всё время там что-то строил, подстраивал, укреплял.

Но они с матерью были рады, что приобрели хотя бы такое жильё. И там я родился 9 сентября 1937 года.

Вокруг сарайчика проходила обводная канава, в которой вода скапливалась и медленно текла в сторону Омки. Место это было небезопасное для ребёнка. По рассказам матери, однажды я, маленький, играл возле этой канавы, а они находились в доме. И вдруг мать, глядя в окошко, кричит: «Миша, Генка утонул!» Отец выскочил, а меня уже вода уносила, только одна рубашонка мелькала. И он меня догнал, вытащил из этой канавы и принёс домой.

Ещё мать рассказывала, что любил я, маленький, «помогать» отцу во дворе, когда он что-либо ремонтировал или подстраивал (крылечко, двери). Я брал гвозди и забивал их в землю молотком. А земля была сырая, мягкая, так что с одного удара гвоздь уходил в землю по самую шляпку. И мать говорила, что я очень радовался этому и с удовольствием это делал. Отец кинется... где гвозди? А они все уже в землю вбиты. В этом же домике отец приобрёл велосипед и впервые стал фотографировать. Сохранились пожелтевшие фотографии, где мать на крылечке в платочке держит меня на руках, я совсем ещё маленький, просто свёрток.

Отец постоянно покупал книги, журналы, открытки по искусству, у него накопилась целая коллекция. Он смотрел, любовался произведениями художников, которых в училище считали несовременными, и у него развился свой аналитический и практический ум в отношении искусства. Он не просто рисовал «по чувству», а он ещё обдумывал каждое прикосновение карандаша к бумаге, изучал технику рисования художников XV, XVI века, под каким наклоном они держали карандаш, как двигалась рука... Он накапливал свои знания, навыки и самостоятельно постигал тайны искусства. И этим он сильно отличался от других художников.



Омск. В парке

Отец матери, Иван Колотов (который когда-то пришёл пешком из Вятки), тоже уехал из Благовещенска с новой женой, и поселились они на Кавказе. Он был бухгалтером и (как рассказывали) задержался с сотрудниками после работы. Сидели, разговаривали. Кто-то что-то рассказал о Сталине, какой-то анекдот. Все засмеялись, и он, видимо, тоже. А за фанерной перегородкой находился комсомолец, который всё слышал и доложил. Ночью пришли и всех забрали. Деда отправили по этапу куда-то на север. Я уже родился, это был 37-й год.

С дороги дед прислал письмо, просил тёплую одежду (шёл по снегу чуть ли не босиком). И мать, и тётя Маруся послали ему всё, что могли, и валенки, и телогрейку, и шапку, и рукавицы, и продукты. Но пришёл ответ, что поздно, что он уже умер по дороге. А где умер и где похоронен, ничего неизвестно.

У деда осталась молодая жена в возрасте моей матери (я уже говорил). И вот она прислала матери письмо с Кавказа, что осталась одна без денег, без продуктов, что умирает с голоду, и просила о помощи. И мать, жалостливая душа, уговорила отца пожалеть её мачеху и пригласила её к себе в эту хибару. Та приехала.

Мать вообще часто болела, у неё была хроническая простуда и ревматизм, ныли кости и мышцы, она даже иногда ходить не могла, лежала. И эта молодая Зоя, которая приехала, стала в доме хозяйничать. Неизвестно, как и что случилось. Отец говорил, что она сама затащила его к себе в постель. Но, как бы то ни было, эта Зоя забеременела, пока мать болела и лежала за занавеской. Когда мать узнала всё это, у неё опять случился нервный приступ, она начала плакать, рвать на себе одежду, волосы, хотела забрать меня и уйти.

И тогда отец велел этой Зое срочно уехать, отправил её куда-то в Киргизию (видимо, к родным). Она там устроилась, потом родила девочку. Эта девочка ещё долгие годы приезжала к нам и напоминала каждый раз матери об измене отца.

Из-за моего рождения отец уже не поехал учиться в Академию художеств в Ленинграде. После меня вскоре в этой халупе мать родила ещё Наташу, а потом и двойню, мальчика и девочку. В 39-м году отца призвали в армию, он оказался сначала на финской войне, а потом на Ленинградском фронте.

Мать с четырьмя детьми осталась одна. Не имея никаких средств, она пошла работать на завод.

Глава 3

06 января 2006 г.

Интерес к слепым. Война. Три смерти. О. Уайльд, «Звёздный мальчик». Поезд на Дальний Восток. Спасск. Уссурийск. Болезнь матери.

Ночь третья. Я снова лежу. Давление утром было 250, в середине дня – 200. Выпил кордафлекс, думал, что давление снизится. Но сейчас уже вечер, десятый час, а давление опять 190. В общем, не снижается ничего. Сделал я один рисуночек в блокноте, так, скорее по ощущению, чем видел. Потом, часа через два, сделал ещё один рисуночек в этом же блокноте фломастером. Я рисую фломастером, потому что вот эти жирные линии я чуть-чуть вижу, хотя бы не совсем... Раньше я рисовал тонким карандашом, но когда я пытаюсь сейчас рисовать тонкой ручкой или карандашом, я вообще ничего не вижу. Так что мне из средств рисования остаётся только толстый фломастер.

Рисунки я делаю на тему своей болезни в разных ситуациях – когда я нахожусь где-то или прихожу смотреть картину, сижу среди картин. Я просто сижу и смотрю, работать не могу. Вот эти ощущения почти слепого человека мне всегда были как-то близки. И раньше меня всегда тянуло к слепым людям. Я помню, ещё в Омске, когда мы жили там после войны, рядом был клуб слепых. Я всё время туда ходил, смотрел на них, рисовал эти их слепые глаза без белков, старался чем-то помочь им, как-то их немножко приободрить. Но всё равно я не знал их жизнь изнутри.

А вот сейчас, когда я сам полуслепой (я не хочу сказать, что я совсем слепой, но полуслепой), я начинаю ощущать их жизнь, как вот они жили в быту. Как, например, таблетка лежит на ярко освещённом столе, а я ищу её руками и не могу найти, потому что ищу её совсем в другом месте.

Ну ладно, это предисловие. Продолжу то, на чём остановился вчера.

Эти дни и ночи начала войны в Омске были очень тяжёлыми для матери, у которой было уже четверо детей. Я даже не представляю, как она могла справляться с четырьмя маленькими детьми. Вот Наташу я помню, фотография от неё осталась, она была младше меня. А двойню, мальчика и девочку, я вообще не помню, только по рассказам. Мать уходила работать на 29-й танковый завод, делала там снаряды, работала на конвейере в тяжелейших условиях. Конечно, это и для мужчин работа тяжёлая, а для женщин тем более. Но все так работали в тылу, все были перенапряжены.



Мать с Наташей. 1941 год

А нас мать отдавала соседке. Тут рядом жила тётя Маруся, у них был хороший дом на каменном основании, просторные сени, в огромной комнате стояла большая русская печка. Она имела десять человек детей, была мать-героиня. Все дети умещались в этой одной комнате,

как уж они там жили, как спали, один Бог разберёт. Тётя Маруся ходила на базар. Сперва она шла по лугу по досточкам к оврагу, подымалась по шатким деревянным лесенкам на вершину за этим оврагом и там ещё шла два или три квартала до рынка. И на этом рынке она что-то покупала, продавала, перепродавала, в общем, крутилась, чтобы накормить эту свою ораву детей.

Да ещё мать нас четверых ей подбрасывала, пока сама работала.

Неудивительно, что у матери маленькие дети стали болеть. Умерли сначала двое эти, мальчик и девочка, слабенькие они были. Я уж не знаю, где мать гробик достала, наверно, кто-то ей помог. Недалеко от нас, рядом с нашим Казачьим рынком на окраине Омска, находилось Казачье кладбище. На кладбище стояла разрушенная церковь с заколоченными окнами, и возле стены этой церкви мать выкопала сама неглубокую могилку. Похоронила их, присыпала землёй.

Когда-то это кладбище считалось богатым, сохранилось много мраморных купеческих надгробий, украшенных и крестами, и цветами, но в войну уже всё это было побито, сдвинуто с мест, опрокинуто, а некоторые могилы даже вырыты. Валялись мраморные головы ангелов, каменные руки, крылья, и кругом всё поросло густой травой. Но через кладбище коротким путём ходили люди, потому что за кладбищем стояли ещё жилые кварталы.

Мать, после того как схоронила своих малюток, продолжала работать и по-прежнему отдавала нас с Наташей тёте Марусе. Я этот период не помню, знаю только по рассказам матери уже в послевоенное время. Моя сестричка Наташа выглядела очень здоровенькой, пухленькой, весёлой, с розовенькими щёчками, и очень нравилась соседям. Но мать уже ходила с ней по врачам, потому что у неё определили менингит, опухоль мозга, видимо, застудилась головка. В общем, и её дни были сочтены. Зимой она умерла.

Мать рассказывала, что гробик для Наташи она заказала где-то в центре. Но саник у нас не было, и мать несла этот гробик в руках через весь город, потом по лугу, по этим нашим широким улицам. Уже спустилась ночь, светила луна. И вот с этим гробиком она пришла домой. Наташа лежала на столе, мать её переложила в гробик. В нашей хибаре было тесно и холодно, одна стена сильно наклонилась и держалась на подпорках. Сил у матери не было, мы закутались, легли на кровать и прижались друг к другу. И, видимо, мать в этот момент остро ощутила глубочайшую трагедию своей жизни. Она поняла, что если и меня ещё потеряет, то уже никогда никому не будет нужна.

И этой ночью мать рассказала мне сказку Оскара Уайльда «Звёздный мальчик», которую ей когда-то прочла её мать. Я эту сказку тоже запомнил на всю жизнь, как завет любви и преданности своей матери. За окном стояла глухая морозная ночь, комната погрузилась в сплошную темноту. Мы лежали на кровати, укрывшись разной рваной одеждой, какими-то тряпками, дерюгами. И мать мне рассказывала про «Звёздного мальчика»...

Жила мать со своим маленьким сыном, который её очень любил. Когда мальчик стал подрастать, то все вокруг поражались его красоте и говорили матери – какой же у тебя красивый сын, какие у него глаза, волосы, какой он сам благородный, от него невозможно глаз оторвать. (Мальчик всё слышал.) Он стал любоваться собой, часто смотрел на своё отражение в воде. А мать у него была обыкновенная женщина. И постепенно он начал её стесняться и упрекать... ты безобразно выглядишь, ты просто всех пугаешь, уходи, я буду жить один. (Мать сначала не могла поверить его жестоким словам, но потом не выдержала и ушла.)

Прошло время. И жители этого городка, которые всегда любовались мальчиком, вдруг стали говорить – откуда взялся этот безобразный мальчик, какое у него страшное лицо, мы не хотим его видеть. Уходи отсюда. (И прогнали его из города.) Он убежал в лес, сел там и заплакал. Вдруг идёт какой-то старик и спрашивает его: отчего ты плачешь? – Мальчик отвечает: была у меня мать, но я возгордился своей красотой и выгнал её. А теперь сам стал безобразный, и меня прогнали жители города. Я хотел бы найти свою мать, попросить у неё прощенья,

но я не знаю, где её искать. – А старик говорит: это непростое дело, ты должен стать другим, очень добрым. Пока не станешь таким, ты вряд ли увидишь свою мать. Пойдём со мной, я тебя накормлю, будешь жить пока у меня. (Я лежал молча на груди у матери, она обнимала меня рукой, а я, затаив дыхание, слушал эту сказку.)

Через несколько дней старик говорит мальчику: ты живёшь у меня, кушаешь, но ты должен отработать эту еду. Я тебе дам сейчас бронзовую монету, сходи и купи для меня сладости в городе. Мальчик взял эту монету и пошёл. Идёт через лес и вдруг слышит: «Помогите! Помогите!» Он остановился, оглянулся и увидел, что какой-то человек упал и не может подняться. Мальчик подошёл, а тот человек просит: помоги мне. – Но я же маленький, у меня нет сил, ответил мальчик. – Тот говорит: отдай тогда мне свою бронзовую монетку. – Не могу, отвечает мальчик, я должен на неё купить сладости хозяину. – А человек продолжает просить: отдай мне монету, я заплачу кому-нибудь, и мне помогут, а то я совсем пропаду здесь. И мальчик отдал ему эту монету.

Вернулся домой. А старик спрашивает: где сладости? Я зачем тебя послал? Почему ты ослушался меня? (Разозлился, избил мальчика и уложил его спать голодным.) На следующий день старик даёт мальчику серебряную монетку и опять посылает в город за сладостями.

Мальчик взял серебряную монету, пошёл. И снова слышит: мальчик, мальчик, помоги мне. – Он подошёл: что случилось? – А какой-то мужчина просит помощи или серебряную монету: я дам её людям, и они мне помогут, отведут меня домой, а то на меня напали разбойники, избили. – Мальчик говорит: если я тебе дам эту монету, то хозяин меня изобьёт до полусмерти, ведь я ему опять ничего не куплю. – Но тот умоляет: мальчик, пожалей меня. (И мальчик опять отдал монету, а сам вернулся ни с чем.) Хозяин ещё с порога увидел, что он ничего не купил, и стал его избивать. Опять оставил его голодным и запер в каморке.

На третий день старик даёт мальчику золотую монету и говорит: иди и купи мне сладости, а если ты не принесёшь, я тебя вообще убью. Мальчик взял золотую монету и пошёл. И теперь повстречал старушку, которая совсем не могла двигаться. И она просит: мальчик, помоги, дай золотую монетку, она спасёт меня. – Но мне хозяин сказал, что убьёт меня, если я и на этот раз не исполню его желания, отвечает мальчик. – А старушка говорит: я умру, если ты мне не поможешь. Тогда мальчик подумал: пусть хозяин убьёт меня, но я спасу эту старушку. И отдал ей золотую монету.

Мальчик пошёл обратно и видит, что леса нет, что взошло солнце. Ворота города открыты, к нему подходят радостные люди, узнают его и спрашивают: где ты пропадал так долго? Ты стал ещё красивее. (Берут его за руку и подводят к красивой женщине). И говорят: это твоя мать, благодаря твоей доброте она снова приобрела свою красоту и молодость, которую у неё отнял злой колдун. И мальчик с матерью обнялись и решили больше никогда не расставаться.

Мать закончила рассказывать мне сказку и спрашивает: ты никогда не бросишь меня? – Я отвечаю: нет, мам, никогда. – Она мне говорит: и я тебя не брошу. Жизнь тяжёлая, трагичная, полна неожиданностей, горя и страданий. Могут и отца убить на фронте, может, и с нами что-нибудь случится, но мы никогда с тобой не расстанемся. – Я так к ней прижался и говорю: нет, мам, никогда.

На другой день мы прощались с Наташей. Привезли её на то же кладбище, где уже лежали мальчик и девочка. В центре кладбища росли три сосны. И вот в этом треугольнике мать вырыла могилку и похоронила Наташу. Но ни надгробия, ни креста она поставить не могла, только запомнила эти три сосны.

Она написала отцу на фронт письмо, что умерло трое детей, остался один Генка. Отец прислал ответ: если Генка умрёт, я к тебе не вернусь.

И тогда мать обратилась к своей старшей сестре тёте Марусе, которая жила в Спасске на Дальнем Востоке и работала там учительницей вместе со своим мужем. Она преподавала

литературу и заведовала методическим кабинетом, а он был учителем географии. Жили они в крепком рубленом доме, имели большой двор, огород, сад, собаку, в общем, полное хозяйство. Мать ей описала своё безвыходное положение, и тётя Маруся пригласила нас временно пожить у неё.



Отец-фронтовик

Мать купила билеты до Спасска. Дома у нас уже ничего не было, потому что днём, пока мать работала на заводе, а я находился у соседки, в нашу хибару приходили воры и

всё выгребли. Украл велосипед отца, посуду, одежду, забрали даже альбомы по искусству и наборы открыток, которые собирал отец. Но зато сохранился рюкзак со студенческими рисунками отца, которыми он очень дорожил и просил обязательно сберечь. Кроме этого рюкзака мать хотела взять в дорогу банку топлёного масла, которую она купила накануне отъезда и спрятала на столе под горой всякой ветоши. Но когда мы уже собрались на вокзал, она подняла эту ветошь и увидела, что под ней ничего нет. То есть украл и последнюю банку масла.

У матери была длинная доха, которую она одела прямо на нижнюю рубашу, потому что все её платья тоже украл, доху она чем-то подпоясала. Мы пошли на вокзал, сели на поезд и поехали на Дальний Восток в Спасск.



В поезде времён войны

Дорогу эту я помню плохо, потому что я был ещё маленький. Но знаю, что ехали мы в полупустом плацкартном вагоне. Все составы шли на Запад с техникой, с войсками, а на Дальний Восток ехало мало народу.

Те, кто эвакуировался, оседали в Сибири, вот в Омске было много беженцев. Но в нашем вагоне следовали матросы на свою службу на Тихоокеанский флот. Ребята ехали молодые, все в матросках, в бескозырках, в форме, в мундирах.

Тут знакомства, разговоры, и, в общем, они быстро поняли, что мы совершенно нищие. И они стали нас подкармливать из своего пайка. А мать мне говорила: Гена, ты, может быть, споешь что-нибудь ребятам, ведь они нас кормят, чай дают. (И она меня ставила на столик между полками внизу.) Я был ещё маленький, но помню, что стоял на этом столике и пел:

По военной дороге
Шёл борбеец в тревоге,
Боевой восемнадцатый год.

Были сборы недолги
От Кубани до Волги,
Мы коней собирали в поход.

Матросы смеются: а почему ты поёшь «шёл борбеец»? Нужно петь «шёл в борьбе и тревоге». А я, значит, как слышал, так и пел. Потом другие песни пел:

Десять винтовок на весь батальон,
В каждой винтовке последний патрон.
В рваных шинелях, дырявых лаптях
Били мы немцев на разных путях.
Где эта улица, где этот дом,
Где эта барышня, что я влюблён.
Вот эта улица, вот этот дом,
Вот эта барышня, что я влюблён.

Матросы были в восторге, что я пою им песни. И так вот мы доехали. Ничего другого я не запомнил.

Приехали мы в Спасск, пришли в дом к тётё Марусе, он находился не очень далеко от вокзала. Тётя Маруся говорит – ну, раздевайтесь, располагайтесь. Мать развязала свой пояс и распахнула шубу. Тётя Маруся только ахнула... как вы, говорит, дошли до такой бедности? Дала матери одежду, обувь.

И я помню, что мы сели кушать. Тётя Маруся стала подавать горячие вкусные щи, вместо тарелок она наливала щи в глубокие пиалы, расписанные цветами. И ложки всем дала серебряные, видимо, она их привезла ещё из родительского дома из Благовещенска. В общем, я был необыкновенно счастлив, что мы попали в такую среду, что тут так тепло, так вкусно, так нам рады. У тёти Маруси было двое детей – Алик, постарше меня, и Рита, его сестра. Ещё с тётей Марусей жил муж и его мать, которой и принадлежал этот дом.

Вскоре тут наступал Новый год. И тётя Маруся поставила огромную ёлку в углу комнаты рядом с высоким трюмо. Ёлку нарядили разными игрушками, чего там только не было. Тут же у них стояло старинное пианино из орехового дерева с канделябрами и витыми бронзовыми ручками по бокам. В комнате было много книг, журналов и разных безделушек. В общем, от всего веяло благополучием и радостной семейной жизнью.

Праздник прошёл, всё закончилось. И вдруг эта бабушка, свекровь тёти Маруси, кричит: игрушка пропала, это он взял. И показывает на меня. А я сам этого и не заметил. Я любовался, любовался ёлкой, а потом, видимо, снял с веточки маленький синенький картонный домик с окошечками и с занавесками, который висел на верёвочке. А эта бабушка заметила пропажу. И сразу ко мне. Обыскали, нашли домик. И тут у свекрови терпение кончилось, и она заявляет: уезжайте, если он уже вор такой, то уезжайте. – Мать говорит: ладно, ладно, простите его, мы завтра уедем. (А я даже сам не понимал, как этот домик оказался у меня.) Почему я его взял? Зачем он мне? Может быть, потому что у нас никогда не было такого хорошего, красивого домика, поэтому я и снял его.

И мы переехали в город Ворошилов (сейчас он называется Уссурийск). Там мать устроилась работать художником-декоратором в драматический театр. Это город уже был большой по сравнению со Спасском. Нам дали сначала комнату с печкой в бараке недалеко от театра. Мать работала, а я маленький там оставался во дворе. Двор был длинный и огорожен высоким забором. И, в общем, я всё мать ждал, ждал, и когда она долго не приходила, я начинал плакать. Мне казалось, что она не придёт уже никогда, а я тут буду один, такой маленький, и куда мне деваться, в общем, у меня текли слёзы, потом я уже начинал кричать, наступала

истерика, болела голова, и все меня жалели: что ты плачешь? Ну придёт твоя мама, не плачь. (А я всё плакал, всё ждал её.) Наконец мать приходила, успокаивала меня. И мы заходили в свою комнатку.

Мать была молодая, совсем ещё молодая. Я часто думаю, хочу понять природу её поступков, когда она жила одна. Таких женщин, как она, у которых мужья воевали на фронте, там находилось много, и они посещали городской сквер. Посредине там стояли полуразбитые скульптурки у полусырого фонтана, но не в этом дело. Главное, что там работали огромные качели с широкими перекладинами, где всегда качались люди, и находилось колесо обозрения. И ещё была танцплощадка.

И вот эти одинокие девушки туда ходили. Я думаю, что поступками матери двигала обида на отца за измену, когда она болела в Омске. Она же отца очень сильно любила. И эта несправедливость, как он поступил с ней, когда я был грудной ещё (да и ребёнок, родившийся от его измены), всё это подорвало её беззаветную любовь к нему. И она решила, что она тоже имеет право быть свободной и независимой. И вот она ходила там на танцы и даже приводила к себе домой кавалеров (это втайне от меня, когда я уже спал). Но я всё равно слышал сквозь сон, что она приходила не одна. Располагались они на полу, чтобы не шуметь и меня не будить.

Помню ещё, что у нас была печка. Однажды ночью я вдруг проснулся от ужасной духоты. И вижу, что выюшка закрыта (зима была), а в печке ещё тлели угольки. То есть дым шёл в комнату, вот этот угарный газ. И я, задыхаясь уже, побежал к двери. Атам крюк такой тяжёлый, я его насилиу выбил, открыл дверь и упал на порог лицом прямо в снег. И так я лежал – половина тела была в комнате, а половина на снегу. Но благодаря этому дым стал выходить на улицу, и мать не задохнулась. Она потом встала, подняла меня. Мы проветрили комнату, выюшку открыли. Помню этот случай.



Уссурийск

Мать постепенно добилась в театре устойчивого положения как художник-декоратор. Там ещё работал художник, который делал эскизы, а мать их исполняла, писала декорации в театре на полу по ночам. Потом их вывешивали на сцене.

Через какое-то время нам дали маленькую комнату в квартире уже в каменном доме на первом этаже. В квартире жили соседи, не то актрисы, не то просто какие-то городские дамы. В комнате находилось одно большое окно и высокая дверь, в общем, какая-то неуютная комната. Но тут мать заболела, и её положили в больницу. А я уже ходил в первый класс. Но поскольку мать положили в больницу, я считал, что её надо там навещать, а навещать можно было только днём. В общем, я бросил этот первый класс, не стал дальше учиться, стал только навещать мать. Она мне оставила сколько-то денег, и я ходил на базар.

Базар там был большой, на его территории даже стояла деревянная церковь. Но поскольку недалеко уже находился Китай, то на рынке много китайцев продавали свой товар. Я помню, что они торговали конфетами. Конфеты их представляли такие длинные трубочки, обвитые красивыми цветными бумажками – голубыми, жёлтыми, золотистыми, красными. Эти конфеты назывались тянучки. Иногда они продавались в банках с водой без обёрток. Берёшь эту тянучку, хочешь её откусить, а она не откусывается. И тогда начинаешь её жевать. Жуёшь, жуёшь, набивается полный рот этой тянучки, проглотить её уже невозможно. Тогда её начинаешь вытаскивать изо рта, она прилипает к зубам, тянется чуть ли не на метр и не рвётся. В то же время эти конфеты были сладкие, во рту они постепенно таяли и уменьшались, когда их сосёшь. Вообще китайские товары были очень разнообразные.

Я покупал молоко в бидончике, покупал вот эти тянучки и шёл к матери в больницу. Больница находилась далеко, я был ещё маленький. А по городу ездили лошади, запряжённые в сани, их называли розвальни. Впереди сидел на дощечке кучер, он постёгивал лошадку. А сзади сани-розвальни, в них лежало много сена. Обычно там или бидоны стояли, или коробки, или какие-нибудь ящики.

Глава 4

06 января 2006 г.

О своих психозах. «Золушка». Интернат. Пионерлагерь. Победа. Измена матери. Возвращение отца. Биробиджан. Поезд в Омск.

Эти сани так устроены, что сзади у них выступают полозья. Я втайне от возницы подбегал к этим саням, залазил в них на сено, ноги ставил на полозья и ехал по улице. Иногда возница оборачивался, видел, что я сижу там, маленький, но ничего не говорил. И мы так ехали. Потом подъезжали, я видел уже больницу, где мать лежала, соскакивал с саней и бежал в больницу, где она меня ждала. Она меня ласково встречала... Геночка, Геночка, сыночек. (Я всё в подробностях не помню, только так, отрывками.)

Вечером я ходил за хлебом в магазин, стоял в очереди. Хлеб продавался по карточкам. Когда моя очередь подходила, я подавал карточку, и продавщица отмеряла мне хлеб, сахар, муку или крупу, что было в карточке написано, то она мне и давала. Так вот я жил, пока мать болела.

Когда я один жил там среди этих женщин, соседок, дверь моя не закрывалась. И однажды или в плитке перегорела спираль (плитка на окне стояла), или ещё что-то, в общем, надо было мне достать спираль. А я знал, что спираль лежит в чемодане, а чемодан под кроватью. И вот я вытащил чемодан, ищу эту спираль, спирали нет. И я вдруг заплакал, зарыдал, со мной истерика сделалась. Я стал кричать: это вы украли у меня спираль. – А эти женщины испугались: да нет, нет, ничего мы у тебя не крали, успокойся, успокойся. – А я всё плачу: куда же она тогда делась? Вот она тут была, а теперь её нету, и плитка у меня не горит. (Вот такой приступ психоза у меня был, я помню.)

Я думаю, что у меня и дальше в жизни были такие приступы. Может, это следствие переживаний матери, когда она находилась в психиатрической больнице, беременная мной. Теперь известно, что на ребёнка действует всё, когда он находится в утробе матери. Недаром же в богатых семьях включают красивую музыку, чтобы ребёнок её слышал, читают книжки с хорошим содержанием, стараются таким образом подействовать на ребёнка, чтобы он стал впечатлительным.

А я, когда ещё не родился, возможно, уже слышал и крики в психиатрической больнице, и скандалы, и истерики, и плач, и угрозы. Потому что я замечал иногда за собой вдруг приступы истерики по самому ничтожному поводу, я тогда мог и накричать, и наговорить что-нибудь обидное. Но потом вдруг всё это проходило, и я понимал, что зря всё это говорил, что я сам во всём виноват. Теперь, под старость лет, я думаю, что это на меня наследственность психопатическая повлияла. В детстве я, конечно, ничего этого не понимал, только плакал, кричал, какие-то истерики на меня находили, голова раскалывалась, жар начинался. Я рыдал из-за пустяка и не знал, что делать, с трудом как-то успокаивался. Тогда ещё я не просил ни у кого прощения. Но когда я стал постарше, то я уже просил прощения за такое своё глупое поведение.



Уссурийск. Дом, где жили в годы войны

Мать поправилась и продолжала работать в театре. Одноэтажный наш каменный дом находился рядом с театром, их разделяло расстояние, куда могла проехать грузовая машина. Наша маленькая комнатка-каморочка с одним окошком выходила сразу на кухню. Но зато всё было рядом с театром. И когда мать ночами делала декорации в театре, то она брала меня с собой. И вот, помню, в театре никого нет, везде пусто. На сцене разложена бумага, картон, разная тюль, кисея. И тут же стоит большое кресло с подлокотниками. Я сижу в этом кресле и смотрю, как мать, склонившись, рисует берёзы, рисует горы, реки, в общем, то, что нужно по ходу спектакля.

В этом театре я запомнил один спектакль, «Золушка», который меня глубоко тронул. Я его видел, наверно, из-за кулис, уже не помню как. Но я запомнил песенку, которую пела эта Золушка. Она пела на мотив «Сурка» Бетховена:

Когда-то девушка жила в своём родимом доме,
На чердаке она спала под крышей на соломе,
На чердаке она спала под крышей на соломе.
 Стирала, гладила бельё, в квашне месила тесто,
 А за обеденным столом ей не хватало места,
 А за обеденным столом ей не хватало места.
Посуду чистила золой, вставала спозаранку,
И звали Золушкой её, послушную служанку.
И звали Золушкой её, послушную служанку.

Сам спектакль, события его я не помню, но вот песенку эту я запомнил на всю жизнь. Вообще жизнь театра была и богатая, и разнообразная.

Театр выезжал на гастроли. На время этих гастролей по Приморскому краю мать отдавала меня на несколько дней в дом-интернат. Мы, помню, шли с ней по виадуку на другую сторону железнодорожных путей. В этом интернате в больших комнатах находилось много детей.

Спали дети на мягких складных деревянных кроватках, брезентовых раскладушках, но все были укрыты простынями, одеяльцами, подушки, всё там было.



1942 год

Иногда в этом интернате проходили праздники. Шла война, и эти праздники были на тему войны. Я помню, как меня нарядили в матроску и одели мне фуражку с морской кокардой в виде якоря. Меня с подзорной трубой поставили на стулья, которые были накрыты белыми простынями. Внизу на полу тоже располагались дети с игрушечными винтовками и автоматами. Это был как бы нос корабля, я стоял на рубке, смотрел в подзорную трубу, потом подымал руку и кричал: «Огонь! Огонь! Огонь!» И эти ребята внизу начинали трещать своими автоматами (крутили ручки сбоку автомата). И треск начинался такой, что будто бы действительно они стреляли. Вот эту сцену я помню.

Жили мы там несколько лет, и мать иногда отдавала меня летом в пионерский лагерь, он находился в тайге. Нас водили по тайге на экскурсию, и один раз мы подошли к старому кладбищу. А там стоял огромный православный крест коричневого цвета, снизу он уже немножко подгнивал, но стоял ещё прочно, такой мощный, высокий, я таких крестов больше не видел никогда.

Однажды мы расположились на песчаном берегу небольшой, но глубокой речки. Другой берег выглядел крутым, почти отвесным, и оттуда ребята ныряли прямо в воду (наверно, это были вожатые). Кругом тут стоял лес, место казалось каким-то далёким, глухим, но в то же время всё тут пронизывало солнце и свет.

И вот когда другие ребята играли на берегу, я пошёл по этому песочку в воду. А дно шло в глубину по наклонной, и уже вскоре я захотел вернуться обратно, но не мог, не мог возвратиться. Меня как бы тянуло в глубину. И чем сильнее я хотел вернуться, тем глубже я

туда заходил. И наступил такой момент, что я вообще оказался под водой. И тут я уже начал булькать, ничего не понимая, и в то же время продолжал идти ещё глубже.

И в это время меня сверху заметили ребята с другого берега. Они прыгнули в воду и поплыли ко мне, в общем, вытащили меня. Я уже еле-еле дышал. Если бы они меня не заметили, так бы я и утонул в этой совершенно прозрачной тихой речке, которая, казалось, не представляла никакой видимой опасности.

Потом я помню момент, когда меня навещала мать в этом пионерском лагере. Один раз она приехала и привезла мне крыжовник и мёд. И вот этим мёдом она залила целую тарелку крыжовника и мне дала. Было так вкусно и так радостно, что мать рядом со мной. Мать моя вообще очень добрая. Добрая и удивительно честная. Эту вот открытость и порядочность она пронесла через всю жизнь. Какие бы события с ней ни случались, она никогда не поступала так, чтобы каким-нибудь подлым образом изменить ситуацию в свою пользу, она предпочитала терпеть, в ней это, видимо, было заложено с детства.

И вот наступило время Победы. Мать радуется... Гена, Гена! Победа! Победа! Война кончилась! Скоро папа приедет. (Или он ей написал, что приедет, или передал как-то.) В общем, мы ходили по городу, вглядывались, как бы встречали отца. Тут военные уже стали приезжать, идут с девушками, с жёнами навстречу нам. И мы всё ходим и всматриваемся, где же папа?

Однажды я ходил к реке один уже. И смотрю... тут у речки лесочек такой прозрачный, там повозки стоят и никого народа нет. Я подошёл и вижу, что кругом валяются сумки санитарные с крестами (белые круги, красные кресты), лекарства, всё разбросано. Это, видимо, был какой-то санитарный обоз, но, поскольку война кончилась, решили, что он уже не нужен, всё побросали, а лошадей увели. И на больших телегах, и на земле остались разные сумки, шинели и каски. Это был признак того, что война кончилась.

Война кончилась, а отца всё не было и не было. Он был на западном фронте, а мы-то жили на Дальнем Востоке, за несколько тысяч километров. И в наш этот двор возле театра приехали танкисты. Они поставили свои танки во дворе, а спать решили у нас на кухне, как бы по договорённости с соседкой. У соседки подросла дочь на выданье, как говорится, да и сама соседка ещё молодо выглядела. И радости не было предела у этих солдат, что женщины тут у них находятся под боком. Конечно, солдаты и в комнату к ним ходили, и ночевали там у них, и дневали, а эти две женщины расцветали от внимания мужчин. Но к матери моей никто не подходил, потому что она уже вела себя строго в ожидании отца.

Стояло необычайно жаркое лето, и весь театр поехал в поле на огороды. У нас тоже был свой огород, там росла кукуруза. Мать меня взяла с собой, и мы туда поехали вместе со всеми. Там по жаре собирали эту кукурузу в початках, набивали ими свои рюкзаки. Но жара всё усиливалась, спасения нигде не было, и тогда все артисты и сотрудники театра стали собираться домой. Мы тоже собрались и пошли со всеми.

И вот идём, все уже изморились. Мать даже кофту сняла от такой жары, кожа у неё сгорела, покраснела. И машина грузовая нас догоняет, поравнялась. Остановили эту машину, все стали прыгать в открытый кузов, и мать меня тоже туда посадила, в этот кузов. Потом сама хотела залезть, но сил у неё уже не было. И тут машина тронулась. И тогда мать кричит – посмотрите, чтобы Гена никуда не убежал, я приду скоро.

И её не было до самого вечера, она всё шла пешком по этой ужасной жары. И, конечно, вся сгорела. Я всё сидел, её ждал, потом уже вечер наступил. И наконец мать пришла, но до неё нельзя было дотронуться, вся кожа сгорела. Она мучается: что же делать, ничего не могу одеть, боль нестерпимая. А соседка наша ей говорит: я тебе дам сейчас простоквашу, ты намажься ей.

Мать взяла эту простоквашу, стала мазать, а до спины рука не дотягивается. И тогда один из танкистов, которые тут же на кухне вповалку спали на своих плащ-палатках, говорит: давайте я вам помогу. Взял простоквашу и стал так потихонечку намазывать матери спину. Ну, в общем, я уж не знаю, как там у них вышло.

А тут вскоре пришло письмо от отца. Он писал, что его перебрасывают в Маньчжурию, что их полк уже движется на восток. А этот танкист Иван говорит матери: Людмила, я тебя не брошу, ты не волнуйся. Мы поедем в Киев, Генку возьмём, там отдадим его в художественную школу, и ты там будешь работать. Ты не расстраивайся, он же тебе первый изменил. (Это ему мать, видимо, рассказала про отца.) И мать в такой тревоге и сомнениях ожидала приезда отца.



Отец – фото с фронта

И отец наконец приехал. В это время мать уже работала в универмаге на втором этаже, они там раскрашивали с помощью трафарета женские платки, набивали краской разные цветы на платках – лилии, розы, очень красиво. Я находился дома. И вдруг отец пришёл и стучит в окно. Я смотрю... за окном стоит военный. Я, конечно, сразу решил, что это отец, и кричу: папа, папа! – Он говорит: открой мне дверь. – Я отвечаю: мама на работе, она закрыла меня. – Ну, лезь тогда в форточку.

Я встал ногами на стол, полез в эту форточку, и он меня вытащил прямо руками с той стороны. Я к нему прижался, спрашиваю: папа, это ты? Это ты? – А он отвечает: да, это я, но зови меня на «вы». (У меня даже как-то похолодало внутри.) Я стал разглядывать его медали, считать их. Он говорит: пять медалей у меня. И он меня так на руках и понёс, мы пошли к матери в универмаг на второй этаж.

Подробностей я уже, конечно, не помню, но, в общем, мать отцу призналась, что она ждала его все эти годы, но в последний момент случилась эта неожиданность. Она предложила разойтись, сказала, что этот танкист Иван забирает нас в Киев. Но отец решил по-другому. Он заявил: нет, Генку я тебе не отдам. Я его буду учить рисованию, я не брошу его.



Рисунки отцу на фронт

А мать отцу на фронт часто посылала мои художества. Я тогда уже делал рисунки то про Кощея Бессмертного, то про Руслана и Людмилу, изображал, как Руслан на коне остановился на краю пропасти, и плащ у него развевается. А на другой стороне этой пропасти, на неприступной скале стоит замок Кощея Бессмертного. И там разные мечети громоздятся, церкви, ограда, ворота решётчатые, и на цепях подъёмный мост, который опускается и поднимается. И вот Руслан с копьём стоит напротив неприступного замка. На другом рисунке Руслан готовится к бою с Головой, в общем, детские такие сказки.

Ещё я рисовал, как идут бои – летят самолёты, строчат пулемётчики, спускаются парашютисты, внизу тут танки друг с другом сталкиваются, огонь, дым, сверху тоже бросают бомбы. А однажды на отдельный листочек я положил свою руку, растопырил пальцы, обвёл всё карандашом, и получился контур моей руки. В общем, разные рисунки я делал, а мать посылала их отцу на фронт. А дома у нас уже вся стена была увешана моими рисунками, мать их прикрепляла кнопками к стене. Рисунки были небольшие, тетрадного размера.

В общем, отец матери сказал: Генку я тебе не отдам, ещё неизвестно, как сложатся и твои отношения с этим человеком, а я тебя люблю, ты моя жена. У нас дети были и ещё будут. Вот война кончится в Маньчжурии, я демобилизуюсь, вернёмся обратно в Омск. А пока собирайся, поедем ко мне в полк, в Биробиджан, и там будем жить... от этого Ивана подальше.

И мы поехали в Биробиджан. Помню, тёмной ночью куда-то мы идём, идём, звёзды уже на небе, а мы всё в темноте идём. Потом пришли в этот полк. Первым делом нас посадили за стол и дали нам кашу гречневую, сверху большой горки из каши положили огромный кусок масла. В общем, солдат там кормили неплохо.

Рядом с полком проходила дорога, эта трасса Москва – Владивосток проходит и сейчас. А на другой стороне этой трассы тянулись болота, кочки такие. Среди этих кочек стояло несколько двухэтажных домиков барачного типа, нас поселили в одном из этих домиков. Семьи свои привезли и командир полка, и замполит, в общем, всё начальство. Они все были полковники, майоры. Отец имел звание старшины, но по своему положению художника в полку он больше общался с начальством, чем с простыми солдатами. Кроме того, всю войну он был политруком.

Нам выделили хорошую светлую комнату на втором этаже, и мы там стали жить. Я свободно ходил в полк к отцу (не знаю, как меня пропускали, наверно, я был маленький ещё и не представлял никакой угрозы). Меня пропускали через ворота, я проходил внутрь и видел там огромный плац. На плацу длинными шеренгами стояли солдаты, а перед ними выступал командир, что-то им говорил. Ко мне на территории полка подходил отец, брал за руку и говорил – пойдём в клуб.

Деревянный клуб находился отдельно. Заходим в этот клуб, а там от пола до самого потолка стоит большой портрет Сталина. Он изображён во весь рост в фуражке, в кителе, в синих брюках с лампасами. А выше Сталина, уже над рамой, был вырезан из фанеры и разрисован орден Победы. Он представлял собой золотую пятиконечную звезду, украшенную бриллиантами, внутри которой изображались Красная площадь, Спасская башня и Мавзолей. От этого ордена Победы с двух сторон картины вниз спускались тоже из раскрашенной фанеры полотнища знамён со штыками, с орудиями, которые окаймляли портрет Сталина. Всё это сделал отец. То есть он Сталина любил. Да и как иначе? Имя Сталина, как символ исторической Победы над фашизмом, гремело на каждом углу, и в песнях, и по радио, и в газетах, и в книгах... везде. Мне запомнился этот огромный портрет, отец, видимо, его уже заканчивал.



Биробиджан

В Биробиджане я снова пошёл учиться в первый класс. Но школа находилась как бы в сторонке, надо было идти по этим кочкам. А между кочками стояла вода, и, в общем, мы прыгали. Дети этих начальников и я – все ходили в первый класс, прыгали по этим кочкам и туда, и обратно. А если двигаться по этим кочкам дальше, то там уже начинались настоящие болота.

В этом первом классе мне понравилась одна девочка, Роза. Мы с ней подружились, и я говорю: Роза, мы скоро поедem в Омск. – Она отвечает: а мы поедem в Иркутск, я тогда дам тебе свой адрес, ты мне пиши, и мы всегда будем дружить. (И дала мне свой адрес.) Но я его положил в карман, а когда мы поехали, я в эту бумажку почему-то завернул пирожок, она промаслилась, и я легкомысленно её выбросил. Видно, не судьба нам была дружить с этой Розой, хорошая девочка такая.

В Биробиджане мать меня посылала за молоком на рынок. Когда я шёл туда, я проходил мимо госпиталя. Он находился в трёхэтажном здании, и я видел много раненых солдат, они во дворе грелись на солнце с костылями, с разными увечьями. Я, конечно, не мог туда зайти, но это была как бы атмосфера, которой дышало то время – этими ранами, повязками, добрыми приветливыми лицами воинов, которые надеялись, что они скоро выпишутся из госпиталя и поедут к своим родным.

Дальше я переходил мост и попадал на рынок (вообще это маленький городок был). На этом рынке пленные японцы в пилотках, в кителях с оловянными пуговицами рыли какие-то ямы. Я подходил к ним близко, смотрел на них, а они смотрели на меня. И это тоже было удивительным послевоенным ощущением. На лицах этих пленных японцев уже не отражалась злоба, и они, наверно, тоже хотели поскорее домой. И это всё тоже создавало атмосферу Победы. В общем, этот великий дух послевоенного времени сформировал меня как художника.

И наконец мы поехали в Омск. Поезд наш назывался «семьсот весёлый». Это были вагоны для скота, двери в них открывались в обе стороны, ограждала только поперечная доска.

Спали на каких-то двухэтажных нарах, тут же печка-голландка находилась. В общем, вагоны держали открытыми, стояло лето, жара. Поезд шёл медленно, часто останавливался, солдаты выбегали и рвали цветы.

Мы ехали втроём – мать, отец и я. В вагоне пели много песен, и под гармошку пели, и без гармошки. Пели украинские песни (...ой ты, Галя, Галя молодая... ехали казаки, увидели Галю... спидманили Галю, увезли с собой). Всё это пелось хором, раздольно так, а поезд шёл потихонечку. Люди знали, что они возвращаются домой наконец и рано или поздно приедут. И они ехали, пели песни и, облокотившись на эту поперечную доску в дверях, смотрели на природу. Некоторые садились, спускали вниз туда ноги к колёсам, курили, но водку никто не пил.



Домой, на Родину!

Люди собрались из разных мест, кто с севера был, кто с юга, кто с Украины, кто с Кавказа, и пели те песни, которые они слышали в своих деревнях. Пели дружно хором «Хаз-Булат удалой», голоса звучали удивительно мощно. А поезд всё шёл, шёл и останавливался, и снова шёл. А солдаты постепенно сходили на своих полустанках.

И вот наконец мы приехали в Омск, опять туда, откуда когда-то уехали. Я отца спрашивал позже, уже когда вырос и жил в Москве: а почему вы не поехали дальше, в Москву? Всё равно же начинать пришлось с нуля. – А он отвечал: Гена, кроме нуля в Омске остались у меня ещё и друзья по училищу, зачем мне ехать туда, где меня никто не знает. (Потом, через много лет, он как бы уже хотел жить в Москве, но так всё и не получилось.)

Глава 5

07 января 2006 г.

Вспышка диабета, слабость. Возвращение в Омск после войны. О городе, о доме, о Рексе. Рождение сестры Жени. Песни матери, её работа. Карьера отца. Рыбалка и рисование с отцом. Подготовка к МСХШ. Рождение Лены. О русских народных песнях. Очереди. Игры. Первая любовь.

Ночь четвёртая. Давление сегодня с утра было почти 200, потом выпил кордафлекс, а около пяти уже было 210 давление, то есть совершенно не помог кордафлекс. Тогда снова выпил клофелин. Но тут уже вечер, больше не мерил давление, я думаю, что оно стало понижаться. В глазах стоял туман, а когда померили сахар, то оказалось 10 с лишним единиц. Такого не было давно, уже несколько лет не было такого внезапного повышения сахара в крови. Люся испугалась, сказала, что больше мёд не будем есть. Не знаю, что ещё ограничивать, в общем-то рацион и так ограничен. Печенье она мне ещё давала диабетическое, а теперь думает, что, наверно, обычное печенье продают вместо диабетического. А я удивляюсь весь день, отчего это у меня в глазах белый туман такой и слабость. Но теперь ясно, что кроме давления произошёл ещё этот большой скачок сахара в крови.

Тем не менее сделал один рисуночек сегодня у себя в блокноте.

Приятель мой, художник Борис Овчухов, лежит в реанимации в 5-й больнице. Его пришёл навестить другой художник, сосед по мастерской на Масловке. И когда я позвонил жене Бориса узнать, как он там, она говорит – в реанимации он, пива просит. (То есть Борис лежит в реанимации, можно сказать, под капельницей, обвешанный всякими трубками и приборами для измерения давления и пульса, и когда пришёл приятель, то он у него пива просит.) Это, конечно, ситуация, от которой можно только гомерически смеяться.

Мне было сегодня так плохо, что я не хотел ничего рассказывать. Думал, может, пропустить одну ночь, потому что слабость мучила весь день, я целый день лежал, пытался уснуть. Люся мне положила грелки и в ноги, и за спину, и хотела в руки дать бутылки с горячей водой. Но я говорю – не надо, я и так усну. (Она даже уходила в магазин для того, чтобы создать тишину для меня, чтобы не мешал мне никакой маленький шорох.) Но всё равно я не мог уснуть. Так целый день провалялся и сделал только рисуночек, как Борис в реанимации пива просит у своего товарища, который у него на глазах действительно пьёт пиво (но тот же здоровый).

Тем не менее я продолжаю вчерашние воспоминания. Закончились они тем, что мы были в Омск с Дальнего Востока.

Вся наша семья опять соединилась – отец, художник, с военной выправкой и с мировоззрением политрука армии, мать, художница, беременная от танкиста Ивана с Украины, и я, который ничего этого не знал, они от меня это скрывали. Я был просто рад, что вернулся отец и что мы возвращаемся туда, где наша семья рассталась в 39-м году. Самое удивительное, что мы перебрали несколько мест в Омске (где-то у знакомых останавливались на короткое время, потом в других местах недолго жили), но наконец оказались почти на том же месте, где жили до войны. Тогда мы жили на лугу в пойме реки Омки, где весной всё заливается. А на горе, на левом её берегу, идут глубокие овраги из чистейшей доисторической глины. И если следовать от старого нашего жилища, то нужно пройти эту пойму реки, застроенную домиками и сарайчиками, подняться по шаткой крутой деревянной лестнице и выйти наверх.

Тут стоит бывшая церковь без купола и без верха (крыша просто покатая), превращённая в клуб слепых. А дальше если пойти по этой прямой дорожке от оврага, то слева начинается

территория 65-й школы, в которой я потом учился. А по правую сторону этой улицы Куйбышева (то есть 1-й линии) будет находиться большая городская психиатрическая больница, где в 37-м году лежала моя мать и где её навещал отец. Улица Куйбышева так называется, потому что прославленный государственный деятель Куйбышев был родом из Омска. В Омске есть лётное училище им. Куйбышева, его имя тут в большом почёте.

Дальше эта улица Куйбышева (1-я линия) идёт по прямой мимо рынка и мимо Казачьего кладбища, где были похоронены во время войны мои сёстры и брат. Если ещё дальше идти, то по правую сторону начинается дорога к историческому центру города, где сливается Омка с Иртышем. Там проходит улица Ленина, там парк и памятник революционерам (на котором один революционер поднимает знамя и поддерживает безжизненное тело своего товарища). Дальше по этой улице Ленина налево будет вокзал и железнодорожная ветка Транссибирской магистрали. Железная дорога идёт и в сторону Приморского края далеко, и в противоположную сторону, к Москве, тоже очень далеко.

А мы возвращаемся к началу этой улицы Куйбышева и пойдём на соседнюю параллельную улицу, которая называется 2-я линия. За ней так же параллельно пойдут 3-я линия и 4-я линия. Там тоже находится большое старинное здание психиатрической больницы, рядом с больницей стоит водокачка. А дальше следуют 5-я линия, 6-я... и так до 24-й. Не знаю, есть ли там что дальше, потому что это уже окраина города, поле, и никаких жилых домов нет. Правда, там стоял ещё сажевый завод, который коптил сажей.



Дом в Омске на 2-й линии

Вот в таком окружении на 2-й линии стоял наш дом. Он был большой, одноэтажный, приземистый, это примерно 3-й дом от угла, от Омской улицы. Дом делился на две половины и имел два входа. Одна половина считалась домом 6, а если пройдёшь немножко вдоль фасада (где ставни скребут по земле каждый раз, когда их открывают и закрывают), то там будет вторая половина дома, уже под номером 6-а, с отдельным входом в глубине двора. Дворы и участки разных хозяев одного дома (а их было четыре семьи) разделялись ветхим деревянным забором со случайными ржавыми кусками железа. Такими же кривыми-косыми были и деревянные уборные во дворе, обитые кое-как железом.

Когда мы туда приехали, во дворе там стоял ещё большой сарай, в котором находились свинья и телёнок. Отец сначала снял одну комнату 16 метров у Левихи, семья которой владела четвертью дома, и входные двери у нас с ними находились рядом. Два наших окна упирались в забор соседнего дома и располагались вровень с землёй, на ночь мы их закрывали ставнями. Под окнами ещё находились две дыры в подпол для проветривания. Сама Левиха была с Украины, женщина очень крупная. Муж её работал в Омском пароходстве механиком и плавал на грузовом колёсном пароходе с трубой до Салехарда и обратно.

До войны, когда мы жили на лугу, у нас была крупная пушистая собака Рекс. Когда мы уехали на Дальний Восток, мы её, конечно, бросили. И больше пяти лет она жила в Омске без нас. И вдруг, когда мы вернулись, Рекс увидел где-то на улице отца и мать, узнал своих довоенных хозяев, подбежал и стал вилять хвостом. Это была такая радость! Его привели, отец повесил проволоку наискосок от забора к дому, посадил его на эту цепь, будочку ему сделал в углу, и он какое-то время там жил, нас охранял. Я его помню. До чего это было приятное существо... огромное, мягкое, доброе, чёрно-коричневого цвета, с большими мохнатыми лапами. Рекс... как я его любил...

Вскоре мать родила девочку Женю, которая была дочерью танкиста с Дальнего Востока. Меня никто не посвящал в подробности, как эта девочка появилась на свет, родная она отцу или неродная. Я думал, что родная. Вообще меня оберегали от этих внутренних тайн, которые есть в каждой семье. Мы с отцом ходили на 4-ю линию, где находился роддом, и смотрели в окно на мать, которая уже держала на руках маленькую Женю. Она родилась в августе, но в Сибири август – это уже скорее осенний месяц, уже начинались заморозки по ночам. А когда наступили холода, то Левиха, хозяйка, стала приводить к нам на крошечную кухню своего телёнка, чтобы он не замёрз в сарае. Она его отгораживала в закутке доской от печки до стены.

Я хорошо помню эту обстановку, эти клубы холодного воздуха, когда телёнок вталкивали с мороза. Он сразу начинал мочиться, и моча растекалась по полу (потом уже муж Левихи провернул коловоротом в полу дырки, чтобы туда впитывалась моча телёнка). И тут же возле открытой горячей печки мать ставила корыто на табуретку и купала новорожденную Женю. Мать охала, ахала, но ничего, конечно, возразить хозяйке дома не могла. Я тогда эту сцену ещё не мог нарисовать, я просто смотрел и запоминал, потому что всё это выглядело очень выразительно.

До нас в комнате печки не было, печку сложил отец, когда мы туда вселились. Это удивительно, как много отец знал и умел, ведь он раньше жил в деревне, где сложить печь, наверно, умел каждый. Кухню от жилой части комнаты отделяла стена с дверным проёмом, на котором висели шторы, расписанные матерью, эти шторы почти никогда не закрывались. В комнате между двумя окошками стоял стол и стулья. Над столом на стене висело зеркало, а сверху спускался абажур. В углу отец сделал деревянный топчанчик для Жени, и над ним мать повесила нарисованный детский коврик. Он изображал большую дырявую соломенную шляпу, в которой играли котята, и там же рядом сидела кошка. Это была репродукция из «Нивы», дореволюционного журнала. Мать очень любила красоту и уют, в отличие от отца, который имел спартанское мировоззрение.

Отец всегда упрекал мать за то, что она не читала газет и не участвовала в общественной жизни, но хозяйкой и матерью она была хорошей. За Женей она постоянно ухаживала, так что Женя скоро превратилась в куколку в вязаном платьице и в вязаной пелеринке с кистями. На головку ей одевали вязаную шляпку с бантом, а на ножки – красивые вязаные носочки.

Рядом с печкой вдоль стены стояла кровать под красивым расписным пологом. Полог открывался и закрывался, его тоже сделала мать. В общем, у матери, видимо, были воспоминания о своём детстве в Благовещенске. Эти воспоминания жили и в репертуаре её песен. Гитару она с собой возила всю войну. В каких бы передрыгах мы ни оказывались, в час грусти она садилась и играла, я был её единственным слушателем. Я устраивался у её ног, смотрел, как

она перебирала струны и пела свои незнакомые мне песни. Они не исполнялись ни по радио, нигде, она привезла целый репертуар таких песен из Благовещенска.

А отец по утрам собирался на работу. Утро начиналось с того, что он искал свой партбилет, который он прятал над Жениным топчанчиком. Там на стене висела полка, которая закрывалась шторкой, и на ней лежали книги и журналы. Туда отец прятал каждый раз свой партбилет. И самое любопытное, что утром он не находил его на месте, этот свой партбилет. И тогда он приходил в неопишное волнение, потому что уже опаздывал на работу. Он судорожно начинал искать свой партбилет во всех книгах, перебирать их, перелистывать, перекладывать с места на место, и всё причитал: «Где же мой партбилет? Где мой партбилет?» (А хранить его в пиджаке он считал ненадёжным.) И наконец он его находил, успокаивался и надевал свою украинскую косоворотку, вышитую цветами и узорами вокруг ворота, потом натягивал пиджак, брюки, шляпу, прощался с нами и уходил на работу.



Омск 50-х годов

Он шёл по 2-й линии, сворачивал на Куйбышева и садился на трамвай (или же ходил пешком наискосок, там было не очень далеко). И попадал в помещение, которое стояло у трамвайного кольца. Может быть, раньше когда-то там находились трамвайные диспетчерские, или магазин «Цветы», или же это была перестроенная часовня. Теперь там работали художники. Среди художников это место называлось Круглое. Оно располагалось на откосе, с которого открывался вид на слияние рек Омки и Иртыша. И дальше за Иртышом начинались дали.

От этой площади (рядом с трамвайным кольцом) дороги расходилась как бы под углом. Одна дорога шла к тому месту, где мы жили, она называлась улица Лермонтова, и по ней ходили трамваи. На этой улице (не то под номером 16, не то 26, забыл уже) стояло довольно приземистое здание, которое тоже принадлежало художникам. На правой стороне от трамвайного кольца располагались остатки городской крепости, вернее, там сохранились только руины бывших казематов (где сидел Достоевский). На самой же площади возвышался памятник Ленину, он стоял с протянутой рукой и смотрел на запад, в сторону Москвы.

Тут надо сказать о том, что когда отец приехал в Омск после войны, в конце 1947 года, Союза художников в Омске не было, он распался. Некоторые художники уехали во

время войны, другие что-то рисовали, как-то зарабатывали. Училище имени Врубеля перестало существовать. Бывшие педагоги этого училища Волков Василий Романович (это который мать упрятал в сумасшедший дом), Козлов, Белов Кондрат Петрович, Либеров Алексей Николаевич – все жили как-то сами по себе.

Но отец вообще привык к военному порядку и строгости, он же на фронте являлся политруком. Это помимо того что он был отличным связистом, командиром отделения. Он налаживал связь по мере того, как продвигались наши войска. И ему даже доверяли вести самый верхний провод от столба к столбу, который крепился на вершине столба. Это тянулась связь с верховным главнокомандующим, то есть со Сталиным. Но об этом я узнал уже позднее и от других, потому что о войне отец не любил рассказывать, мне он никогда не говорил о войне. Единственное, что выдавало его чувства, это слёзы. Когда у нас появился телевизор и там стали показывать фильмы военного времени, то отец или не смотрел их, или если смотрел, то слёзы у него ручьём текли из глаз. Он не мог ни остановить, ни сдержать своих слёз и чувств. Он и всхлипывал, и плакал иногда просто навзрыд, когда смотрел эти фильмы военного времени.

И когда отец приехал в Омск, то он первым делом собрал всех художников, оставшихся в городе, и устроил собрание, на котором сам же стал председателем. Это получилось стихийно, ему художники доверили этот пост. И отец поставил задачу – организовать Союз художников в Омске. Но для этого нужно было разрешение Москвы. Он поехал в Москву, договорился там, и его благословили на это дело. Когда он вернулся обратно, то на собрании уже официально объявил о создании Союза художников. И его, конечно, избрали председателем этого союза. А поскольку время было послевоенное, строгое, то он же стал и секретарём парторганизации в этом союзе. А когда уже он являлся и председателем Союза художников в Омске, и секретарём парторганизации, то руководство города выдвинуло его кандидатом в депутаты районного совета.



Отец

Я помню эти выборы в автошколе, мы ходили туда. Портрет отца висел в рамочке, и его представляли как кандидата в депутаты района, которого надо избирать. И его избрали. В общем, он стал в городе очень известным человеком. Ему всё это очень нравилось, потому что отвечало его натуре. Я уже говорил, что в армии он был политруком. У него сохранились фотографии, где он стоит в военной форме, обвешанный ремнями, с одной стороны у него висит кожаная сумка, с другой стороны кобура с пистолетом, в общем, бравый вид. А взгляд на фотографии у него очень строгий и независимый, не располагающий ни к какому панибратству и дружбе. И в Омске после войны он остался таким же.

Для того чтобы организовать Союз художников (как ему в Москве указали), должно быть девять членов. И он из старых преподавателей бывшего училища имени Врубеля набрал костяк этого союза. Потом тут ещё после фронта вернулись в Омск несколько художников. В общем, девять членов он набрал вместе с собой. И тогда им на улице Лермонтова городские власти выделили дом, где они могли собираться, дом для этих девяти членов союза, творческих работников. У отца в этом доме была мастерская, рядом были мастерские Щёктова, Либерова, Козлова, Белова, в общем, они там заняли каждый себе по комнате.

А остальных художников, которые, по мнению отца, были «менее творческими» (как моя мать, например), поселили вот в этом помещении, которое называлось Круглое. Возможно, до революции там находилась часовня, потому что весь этот вогнутый дугой красивый откос раньше был застроен храмами. Они стояли почти вплотную друг к другу и образовывали как бы броню города, которую было видно издали при подъезде к Омску.

Вообще Омск расположен на ровной местности. К югу от Омской области уже начинался Казахстан, и там тоже раскинулись ровные степи, которые далеко-далеко уходили на юг. А к северу от Омска шла лесистая местность. На правом высоком берегу Иртыша, который тянулся всё время на одинаковой высоте, располагались сосновые боры, переходящие севернее в тайгу. Когда плывёшь на пароходе, то можно видеть сосны с обнажёнными корнями на краю обрывов и целые обоймы сосен, уже упавших вниз с обрыва. И по Иртышу пароходы двигались на север в почти необитаемые места.

Омск располагался на стыке вот этих северных районов и казахских степей. В самом Омске природа бедная, но она богатая дальше к северу. Город тогда был пыльный, старый. Вдоль Омки по овражистым берегам тянулся самозастрой. Там стояли домики, сделанные бог знает из чего – кто из глины лепил, кто из кизяка, кто деревянные строил... в общем, каждый сооружал что мог, и даже свет проводили в эти домишки. Конечно, никаких удобств там ни у кого не было. Но зато протекала речка, жители летом купались в Омке, а женщины носили стирать туда своё бельё в тазах. На берегу, на свежем воздухе, раздавались шуточные крики, взвизгивания, смех... текла нормальная жизнь – дети в школу ходили, бельё сушилось на верёвках.

Порой ветры подымали столбом и пыль, и мусор, потому что никто ничего не убирал на улицах в первые годы после войны. Но постепенно на собраниях в райкоме и в обкоме партии ставились задачи привести город из полувоенного заброшенного провинциального состояния в образцовый сибирский культурный центр. Вот Союз художников отец организовал, другие люди создавали филармонию, третьи восстанавливали медицинский институт.

В Омске был очень хороший медицинский институт, ещё дореволюционный, с большими научными достижениями. У них хранится совершенно открыто труп человека, удивительно похожего на Ленина. Он находится не в гробу, а в стеклянном ящике с крышкой, которая предохраняет труп от мух. Я читал о нём недавно в «Московском комсомольце». Этот труп хранится в кабинете патологической анатомии ещё с 30-х годов. И все только удивляются изобретению растворов, которые так влияют на ткани, что они не разлагаются, это остаётся секретом до сих пор. В отличие от бальзамирования трупа Ленина, где работала целая группа учёных, известно, что труп его двойника в Омске препарировал простой лаборант. Кроме обычного раствора он использовал заморозку трупа на улице.



Отец на пленэре

Вот такие достопримечательности Омска, это только то малое, что я знаю и помню. Но вообще туда во время войны эвакуировали военные заводы, там находился и авиационный завод, и танковый завод, и ещё какие-то, про которые мне по моему возрасту не полагалось вообще знать. Отец в этом отношении был очень строгий.

По воскресеньям, когда у отца выдавались свободные дни, мы с ним ездили рыбачить на Омку или на Иртыш (он любил рыбачить). С этой стороны Иртыша всё было застроено, а другой, пологий берег Иртыша стоял совершенно пустой, там, кроме бакенщиков, никого не было. И вот мы туда переплывали на лодке (там немножко заплатишь, и тебя перевезут), закидывали свои удочки, а сами в ожидании, когда дёрнется поплавок, начинали рисовать.



Мост за городом

Отец раскладывал походный деревянный мольберт и рисовал какой-нибудь пейзаж с водой, с растительностью (деревьев там не было, просто кустики росли). Я пытался тоже рисовать, но мне нравился город. Вот начинаю рисовать, но вскоре подходит отец и говорит: Гена, это не рисуй. – Я спрашиваю: почему? – Потому что там здание обкома партии. Я так поворачиваюсь по дуге и начинаю рисовать другое место.

Он своё рисует, но через некоторое время опять подходит и интересуется:

Гена, зачем ты рисуешь это? – Я отвечаю: а что? – Это же железнодорожный мост, стратегический объект, его нельзя рисовать. Я тогда поворачиваюсь ещё больше и рисую совсем другие силуэты зданий вдали. И снова отец подходит: Гена, ты опять не то рисуешь, это же элеватор, это вообще секретный объект.



Сибирские просторы

Я поворачиваюсь в обратную сторону, в левую, начинаю рисовать с другой стороны. Он опять через какое-то время подходит: Гена, это же нефтеперегонный завод, стройка всесоюзная, не надо её рисовать. Я подальше тогда перехожу, рисую далёкие какие-то строения. Отец опять на меня набрасывается: нельзя это рисовать, там же лагеря, заключённые, ничего этого не рисуй. В общем, ничего, получается, нельзя. Я спрашиваю: папа, а что же мне рисовать? – Вот видишь удочку? Поплавок видишь? Смотри, какой он красненький на воде, как он туда уходит, в воду, вот это и рисуй, и никто тебе ничего не скажет. (И сам он тоже рисовал какой-нибудь кустик травы, песочек тут, тень на песке, водичка). Вот так проходили наши работы на пленэре... ничего нельзя.

Иногда я сопровождал отца на работу, мне это нравилось. Он шагал, я держался за его палец, и так вот мы шли рядом. Конечно, мы проходили через базар (или мимо базара) и заворачивали на улицу 10-летия Октября, которая тоже вела в центр и была параллельна Лермонтовской. И тут на углу сидели нищие и инвалиды, бывшие солдаты (у кого культя вместо руки, у кого нет ноги), и просили милостыню. У меня не было своих денег, и я говорил отцу: пап, давайте им подадим. – А он отвечал: это бездельники, они могли бы работать, ты разве не читал повесть о настоящем человеке, когда лётчик без обеих ног снова встал в строй, водил самолёт и бомбил фашистов? А эти что? Они опустили, не хотят работать, они позорят наш строй. Не только я им ничего не дам, но и ты не подходи к ним близко и даже не смотри в их сторону. (В общем, резко меня осаждал.)

Но у меня не было неприятия к этим людям. Я сам не воевал, и мне их было жалко. Но сделать я ничего не мог, тем более ещё не мог нарисовать их, об этом даже и речи не было. Я просто смотрел на них и сочувствовал им.

Вот так проходили первые наши годы в Омске. Отец постепенно укреплял свою власть. Художники приняли его сначала очень горячо (Миша, Миша... наш Миша).

Но потом появилось у него как бы отчуждение в среде ведущих художников, «китов», пишущих картины (в отличие от тех, которые рисовали в Круглом, зарабатывая просто на жизнь, как моя мать).



Послевоенная демонстрация

Эти художники из Круглого назывались «фондовскими», для них отец организовал фонд. Они выполняли технические работы, которые в наше время могли бы выполнять фотографы, например, рисовали сухой кистью (есть такая техника). Бралась кисть без масла, и на ткани ею рисовали с фотографий портреты членов тогдашнего Политбюро. Нарисовать нужно было как можно больше за день. Сначала портреты делали на больших листах бумаги, потом их по контуру прокалывали иголками, создавая дырочки. Обводили нос, очки, губы, подбородок, лоб, глаза, зрачки... всё-всё, для того чтобы сперва сделать так называемые припорохи.

Потом они накладывали этот припорох на ткань, которая была натянута на подрамнике, и края закрепляли гвоздиками. Втирали в эти поры уголь, он проходил на ткань. Припорох убирали, с ткани лишнее сдували, и получался готовый контур головы члена Политбюро в рубашке, в галстук и с орденами, какие у него были, всё это передал припорох. И им оставалось только, не нарушая контура, раскрасить его красками близкого колорита. Например, умбру натуральную соединяли чуть-чуть с умброй жжёной, и портрет получался приятного тёмно-коричневого цвета. В самых тёмных местах он был почти чёрный. Вот этим занимались художники, которые работали в Круглом, в том числе и мать.

А моя работа заключалась в том, чтобы принести им обед. Мать заранее дома готовила, а потом мне говорила: сходи за хлебом, и всё это принесёшь мне и отцу.

И я во время обеда нёс в это Круглое еду и смотрел, как они работают. Окна располагались по всему этому круглому зданию, так что там можно было работать в любом месте. За окнами гремели трамваи, у которых тут было кольцо, пересадка. Одна часть трамваев ехала на вокзал под прямым углом к улице Лермонтова, а другие трамваи приходили с вокзала, тут разворачивались, шли обратно или направлялись к парку культуры в конце города, где мы жили.

Отец часто ездил в Москву по делам Союза художников. Там отчитывался, ему давали новые установки, как руководить союзом. И там же ему сказали, что в 47-м году планируется республиканская выставка в Третьяковской галерее, первая послевоенная выставка по указу самого Сталина. И все художники с большим энтузиазмом начали работать над своими картинами, рисунками и скульптурами. Начал готовиться в Омске и отец.

Омск располагается в низкой местности, но за Омском берег постепенно повышается, и оказывается, что Иртыш течёт вниз. А за Иртышом дали тянулись бесконечные, которые

когда-то любил описывать Достоевский. Там в районе Чернолучья находился дом отдыха, в котором побывал отец и где он задумал нарисовать картину – девушка в светлом цветастом платье стоит на крутом берегу, опершись спиной на сосну, у других сосен ещё девушки находятся, в общем, это дом отдыха. Справа начинается уже тёмный бор, а слева девушка смотрит на просторы на низком берегу, на кустики и уходящие в бесконечную даль протоки небольших речных стариц.

Не знаю, как другие художники, но отец нарисовал вот эту картину. Она была вертикальная... песчаный, глинистый обрыв, и эта задумчивая девушка стоит и смотрит вдаль. Картину приняли на выставку в Москве, и, мало этого, её ещё и купили за семь с половиной тысяч. Это оказались первые деньги, заработанные отцом благодаря своему творчеству. Радости нашей не было пределов.

Муж нашей хозяйки Левихи работал механиком на пароходах. Меня он как-то любил и даже брал на экскурсию на пароход. Я там тогда гулял по палубе, ходил к нему в машинное отделение, смотрел, как двигаются все эти шестерёнки, как колесо крутится и черпает воду, благодаря чему идёт пароход. Два колеса находились с двух сторон, наверху стояла труба. Чтобы завести паровой двигатель с колёсами, там топили углём. Конечно, скорость была маленькая, но большой скорости и не требовалось, потому что пароход обычно тянул за собой плоты вниз по Иртышу в сторону Карского моря, где сама вода текла быстро. В районе Омска вода просто сбивала с ног. Если зайти по горлышко в воду и стоять на дне на носках, то вода даже подымала человека. А если умеешь плавать, то можно только лежать на спине, и вода сама тебя несёт...

Дочка хозяйская подросла и стала уже ходить на свидания. А свидания обычно происходили в центре города, где сливались Омка и Иртыш. Место это с деревьями, лавочками и цветочными клумбами называлось «стрелка», вечерами там назначались свидания и организовывались танцы. А свидания в послевоенном Омске не всегда бывали романтическими, в городе находилось много и заключённых, и людей с разными разбитыми судьбами. И, конечно, молодой девушке знакомиться было небезопасно, родители боялись за свою дочь.

Кроме того, за домашних животных тогда в Сибири брали очень большие налоги. И мне Левиха часто говорила: возьми, Гена, этот таз с яйцами, снеси в хлебный магазин и скажи, что это от нас налог. (То есть налог брали продуктами – у кого яйцами, у кого мясом.) В общем, они решили уехать на Украину. Перед этим они продали свою корову, а свинью решили зарезать, попросили помочь моего отца. И я помню, как в огромном сарае отец с ней расправлялся, я не видел, конечно, только мог представить. Потом эту свинью палили паяльной лампой, и вот этот запах горевшей щетины я хорошо помню.

Расправившись со своей скотиной, они решили продать дом. А в это время отец как раз получил деньги за картину – вот эти семь с половиной тысяч. И он выкупил у них ту комнату 16 метров, в которой мы жили. А большую комнату, метров 30, в которой жили они сами (там окна выходили на другую сторону, во двор), купил Сивохин Иван Яковлевич с семьёй, тоже художник, он приехал как раз из какой-то деревеньки из района Чернолучья.

Семья Левихи уехала. А отец стал забивать досками дверь, которая соединяла их комнату с нашей. Он наколотил доски с двух сторон и сыпал между ними шлак и золу. На улице этот шлак и зола скапливались везде, потому что у всех были печки. Люди выходили из домов и прямо из вёдер высыпали их на дорогу, которая шла от начала улицы к базару.

И я помню, как отец с нашей стороны и художник Иван Яковлевич с той стороны всё перекрикивались – слышно или нет. И когда они добились, что уже ничего не было слышно, тогда успокоились. Потом они обили каждый свою сторону дранкой, обмазали глиной это всё, побелили, и получились две изолированные комнаты – у нас и у них. Этот Иван Яковлевич был деревенский мужик, рукастый, он пристройку с окном ещё сделал к своей части дома, устроил

там себе мастерскую. А у отца мастерская находилась в городе, как я уже говорил. Мать тоже работала в Круглом в центре.



Бывшее здание МСХШ в Лаврушинском переулке

Следствием поездок моего отца в Москву явилась и будущая перемена в моей судьбе. Третьяковская галерея располагается в Лаврушинском переулке, и прямо напротив неё находилась Московская средняя художественная школа, которую открыли ещё до войны. На стенах фасада там вылепили изображения кистей, красок, палитры и поместили высказывания об искусстве Луначарского.

Отец знал, что это художественная школа, потому что она сразу бросалась в глаза при приближении к Третьяковской галерее. Он зашёл в эту школу и узнал условия приёма.

Когда он вернулся из Москвы, собрали домашний совет. Отец, мать и я сели чинно за стол, и отец стал говорить: давайте решим, что делать с Генкой, он уже стал большой, 12 лет. В его возрасте... вон у Безуглова сын работает вместе с отцом, делает в фонде вывески, крупными буквами пишет разные названия для магазинов и ателье, получает деньги. Так что Генка тоже может зарабатывать и не быть нам обузой.

Но, говорит, я ездил в Москву, и есть ещё один вариант – отдать его учиться в Москву. Такие же школы существуют ещё в Ленинграде и в Киеве. (Три школы всего тогда были в Советском Союзе с интернатами на полном обеспечении.) И отец меня спрашивает: что ты хочешь? Будешь работать, зарабатывать деньги или поедешь учиться? – Я отвечаю: я хочу учиться. – И отец тогда говорит: если учиться, то нужно готовиться к этому, потому что это не простая школа, а там учат высокому профессионализму, своих детей туда стремятся устроить

самые выдающиеся люди. И чтобы тебе туда попасть, надо пройти серьёзную подготовку, чуть ли не целый год работать здесь каждый день и каждый час.

Конечно, в этой школе не обходилось без влияния, без нажима на преподавателей, школа же не резиновая, не могла всех принять. Поэтому устраивались конкурсы. Но первоначально она задумывалась как школа для талантливых детей со всей России. Специально посылались художники в удалённые окраины, в провинции России, в Казахстан, в Киргизию, в Якутию, в Сибирь для того, чтобы найти талантливых детей. Потом их привозили сюда на полное обеспечение, где они ни о чём не думали, ни в чём не нуждались, а только рисовали и серьёзно изучали искусство, чтобы потом попасть в художественный институт, при котором находилась эта школа. А институт уже являлся резервом Академии художеств. Государству нужны были художники, прославляющие социалистическое отечество. Вот такая стояла задача.

И когда отец зашёл в эту школу, он как бы попал в точку, потому что Омск считался и провинцией, и глухоманью. (Его название расшифровывалось раньше «Отдалённое Место Ссылки и Каторги».) Отец сказал в школе, что сам он художник, что у него есть ребёнок, и спросил, можно ли его привезти в школу. – Ему ответили: готовьте, потом посмотрим.

Вот он нам с матерью всё это сказал. И я тогда уже из мальчишки, который рисовал всё подряд и по настроению (иногда хотел рисовать, иногда не хотел рисовать), превратился в мальчика, который начал упорно работать над одной целью – выдержать экзамен в художественную школу. Отец узнал, что на экзамене ставится натюрморт для акварели, потом делается рисунок с натуры, и ещё композицию надо было придумать. И отец мне сказал: теперь у тебя помимо рыбалки, товарищей и игры в бабки, есть задание на день – сделать одну акварель.

Отец сшил для меня альбомы. Один альбом он мне сделал для акварели, другой – для длительных рисунков, и небольшие блокнотики сшил для набросков, которые помещались у меня в кармане пиджачка. Эти наброски я должен был делать везде – в очереди, где я стоял за хлебом или за керосином, на рынке, куда я ходил продавать брюкву, на рыбалке... везде, где бы я ни был, я должен был рисовать в этот блокнотик наброски карандашом. Иногда я рисовал в японских альбомах в клеточку, которые мы привезли ещё из Биробиджана, там по краям страниц шли надписи, иероглифы эти японские. И ещё отец подарил мне набор акварели, который привёз из Германии в качестве трофея. Это была чудесная коробочка с эмалированной крышкой и створками, которые использовались как палитра.



Первые блокноты для рисования

Карандашей у меня больших не было, рисовал я огрызками и всегда носил с собой бритву, чтобы затачивать эти маленькие карандаши. Я ими рисовал и чинил их до таких размеров, что

они и в руке уже не помещались, эти совсем маленькие огрызки другие люди давно бы выбросили. Такую привычку я сохранил и в Москве и всех этим очень удивлял в художественной школе.

Ещё отец меня сразу учил: ты не должен пользоваться резинкой, чтобы исправлять. Ты должен сразу всё рисовать точно. Если хочешь что-то изобразить и боишься, что ошибёшься, ты рисуй сначала жёстким карандашом, типа Н, намечай всё этим карандашом. Потом, когда ты убедишься, что всё более-менее правильно, бери помягче карандаш, типа М, и уже прорисовывай точнее и точнее, пока наконец ты не сделаешь точный рисунок того предмета или места, которые находятся перед тобой.

Дома он мне, например, ставил банку с водой на стол и говорил: нарисуй мне эту банку с водой. (Я садился и рисовал.) В другой раз говорил: нарисуй вот это. (И кладёт на стол то брюкву, то картофелины разные, то череп.) Не знаю уж, откуда он череп принёс, но он был у нас дома, я этот череп рисовал.



Полати для сна

Вообще искусство мне очень нравилось, даже его запах. У японских альбомов, например, был какой-то необыкновенно приятный запах. А от чешских карандашей «Кохинор», которые потом отец мне привозил из Москвы, исходил такой сандаловый запах, что я даже не хотел

ими рисовать, потому что я боялся, что я потрачу эти карандаши, и больше не будет уже у меня такого чуда. Я их прятал.

Спал я... вот когда входили мы во входную дверь, то там шла перегородка между кухней и комнатой, тонкая стенка. И наверху, повыше дверей, отец между стен соорудил настил из досок и положил туда шубы, одеяла, подушку, и там я спал. Залазил я туда по вертикальной стене, на которой отец набил поперечные реечки. От света у меня там висела занавеска, которую расписала узорами опять же мать. Она везде, где могла, или табуретку разрисует цветами, или лавочку раскрасит какими-нибудь розами. Вообще мать всё расписывала в этой нашей комнатке, у нас было очень уютно. Так мы жили.

После войны у отца с матерью сначала не было детей. Детей не было не по вине матери, а потому что отец воевал столько лет... 39-й, 40-й, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, 45-й, 46-й... Восемь лет он воевал. А я слышал, что на фронте солдатам подмешивали что-то в пищу, какой-то порошок, чтобы отбить у них половую энергию, чтобы их ничего не отвлекало на войне и чтобы они не могли общаться с женщинами при освобождении очередного населённого пункта. Но оказалось, что этот порошок (если такой существовал) продолжал своё действие и после войны. Так, отец из Уссурийска забрал нас в начале 46-го года, но детей у них с матерью не было до 48-го года. И он очень переживал, что эта бездетность у него останется навсегда.



С сёстрами

Но тут, на его счастье, мать забеременела, и в 48-м году появилась ещё одна девочка у нас, которую они называли Лена. Это стало его счастьем, что он после войны смог родить девочку, больше у него детей не было. Отец эту Лену безумно любил, он просто обожал её, всё время

и на руках носил, и целовал, и рассказывал ей всё, что знал об искусстве, о жизни... в общем, просвещал, брал с собой в мастерскую и везде. Но Лена пошла потом по музыкальной линии и стала концертмейстером.

А когда она была маленькая, отец сам сделал ей кроватку на полукруглых полозьях. В общем, эта кроватка раскачивалась и укачивала Лену. А поскольку мне всё равно надо было рисовать, то меня заставляли сидеть дома и следить за этой девочкой. Я качал её, чтобы она спала, я перестилал её, когда она была мокрая. Если она что-то наделает под себя, я тоже убирал и подмывал её. И я помню эту Лену, как она маленькая, совсем крохотная ещё была, как мать укладывала её поперёк кровати и осматривала – не запрели ли подмышки у неё, нет ли красноты между ножек, и присыпала её своей пудрой, которой она иногда пудрила лицо. (Была такая мода послевоенная – пудриться и немного губы красить.) Потом Лену пеленали и перевязывали ленточкой, во рту у неё находилась соска. И вот её клали в кроватку, закрывали, и я должен был её укачивать целый день.

Ну что мне оставалось делать? У меня сохранился довоенный ещё песенник, книжечка с песнями. И вот я качаю Лену одной рукой, в другой руке держу эту книжечку, читаю и пою ей разные песни. Такая была песня про японцев... вы хотите драки, генерал Араки, мы вам... что-то там такое... можем вам это устроить... (Лена так смотрит на меня, вытаращив глаза, я ей это всё пою.)

Потом я ей пел про Ермака, который погиб во время бури, Кучум на него напал. И вот я её качал, а сам громко распевал, почти орал:

Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали.
И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали.
И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали.

Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой
На диком берегу Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.
На диком берегу Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.

Я её качал и одновременно смотрел, засыпает она или нет. И если она ещё не засыпала, я тогда пел дальше:

Товарищи его трудов,
Побед и грома звучной славы
Среди раскинутых шатров
Беспечно спали средь дубравы.
Среди раскинутых шатров
Беспечно спали средь дубравы.

О, спите, спите, мил герой,
Друзья средь бурею ревушей,

С рассвета глас раздастся мой,
Ко славе иль на смерть зовущий.
С рассвета глас раздастся мой,
Ко славе иль на смерть зовущий.

Потом опять я на неё смотрел. Если она ещё не заснула, я опять качал её и пел:

Страшась вступить с героем в бой,
Кучум к шатрам, как тать презренный,
Прокрался тайною тропой,
Татар толпою окруженный.
Прокрался тайною тропой,
Татар толпою окруженный.

Мечи блеснули в их руках,
И окровавилась долина,
И пала грозная в боях,
Не обнажив мечей, дружина.
И пала грозная в боях,
Не обнажив мечей, дружина.

Ермак воспрянул ото сна
И, гибель зря, стремится в волны.
Душа отвагою полна,
Но далеко от берега чёлны.
Душа отвагою полна,
Но далеко от берега чёлны.

Иртыш волнуется сильнее,
Ермак все силы напрягает
И мощною рукой своей
Валы седые разгребает.
И мощною рукой своей
Валы седые разгребает.

Ревела буря, вдруг луной
Иртыш кипящий осребрился,
И труп, извергнутый волной,
В броне медяной озарился.
И труп, извергнутый волной,
В броне медяной озарился.

Но тут Лена уже засыпала, я переставал её качать и петь. И после этого садился и начал рисовать предметы, которые мне отец задавал каждый день. Он очень строго относился к этим заданиям. Возвращался он с работы всегда поздно. Сперва приходила мать, потом огород

поливали, ещё что-то делали. Ужинали обычно без отца. И потом только в час ночи стучал он нам в ставни. И тогда я бежал и открывал ему дверь (которая закрывалась только на один тоненький крючок). Он сперва кушал, а потом говорил мне: ну, покажи, что ты нарисовал. (Я ему показывал.) Он внимательно смотрел: да, это хорошо, акварель хорошая, а где рисунок? – Я отвечаю: я его не успел, пап, нарисовать. – Как не успел нарисовать? Но ты же знаешь, куда ты хочешь ехать? Как это ты не успел нарисовать? Садись и рисуй...

А было уже два часа ночи. Он раздевался, ложился спать, а мать ему спросонок говорила: Миша, что ты делаешь? Ведь это ребёнок, как же ты можешь заставлять его ночью работать? – Он ей отвечал: ничего-ничего, он знает, куда едет, пусть рисует.



Морковка

И я сидел при керосиновой лампе, потому что абажур они уже гасили, так что было темно, и хотелось спать. Я рисовал какие-нибудь картошки, или брюкву, или огурец, или помидор... в общем, всё, что отец меня заставлял рисовать. Но проходил час, другой, отец просыпался и спрашивал: спать не хочешь? – Я отвечаю: да нет, не хочу. – Он говорит: а так всегда бывает – если ты захочешь спать и уже нет сил у тебя сопротивляться, то бери бумагу, карандаш и рисуй. И ни за что не уснёшь.

И этим я пользовался потом в другие годы, когда действительно я попадал в какие-то ситуации на вокзалах, где делал пересадки и где очень хотелось спать, но было опасно, потому что кругом бродили всякие бродяги и жулики. Я тогда вытаскивал блокнотик и начинал рисовать. Рисовал тех, кто рядом, кто подальше, спящих рисовал, и мозг напрягался, и я уже вообще

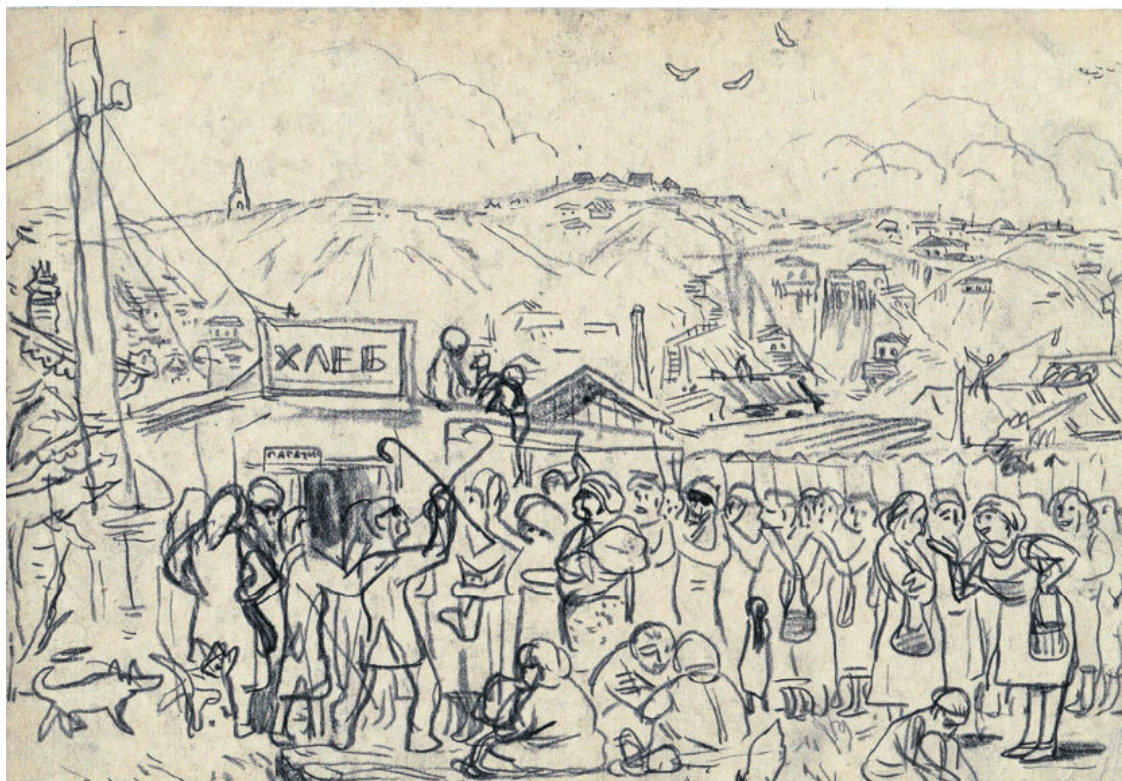
о сне забывал, пока всё это не нарисую. А тут уже светло становилось, и время незаметно проходило.

Пел я Лене и другие песни, про Степана Разина, например, как он княжну бросает в воду и кричит своим друзьям – что ж вы, черти, приуныли, эй ты, Филька, чёрт, пляши, грянем, братцы, удалую за помин её души...

Лена, конечно, не понимала, что я ей пел, но я входил в такой восторг, так громко пел разные народные песни, что почти кричал уже на весь дом. И эти песни потом на всю жизнь в меня вошли. И когда я приехал в Москву, то и там я их пел перед товарищами, и все рты разевали и слушали, будто что-то неслыханное. Я спрашивал: но почему же? Это же русские песни, это же наши русские песни, которые народ поёт, как же они для вас неслыханные, вы должны их знать. И я пел им опять, и таким образом я их очень сильно удивлял.

И вот уже в наше время (мне сейчас 68 лет), недавно ещё у нас происходили застолья всякие, дни рожденья с цветами и выпивкой, у меня собирались гости, и когда я говорил – давайте споём русские народные песни – то все замолкали и никто ничего не мог спеть. А если и вспоминали, то это были уже советские песни, а не русские народные. А русских народных песен (вот, например, «По диким степям Забайкалья») уже никто в Москве не пел и не знал. И мне было очень одиноко в этой компании, потому что я начинал петь, и все только слушали, никто не мог подтянуть, потому что не знали слов, не знали мелодии, ничего не знали.

Так я понял, что уходят русские песни из народного быта. Уходят навсегда, потому что вырастает новое поколение, которое не узнает их уже от своих родителей. И, конечно, оно не хочет их знать, потому что оно воспитывается уже на совершенно других мелодиях и на других ритмах. А ведь протяжные русские песни – это сама суть русской души, такая раздольная, привольная. И когда их поёшь, то представляешь себе и степи широченные, и леса густые, и Байкал огромный, в общем, всё представляешь. Родину свою представляешь, которую, конечно, нельзя сравнить ни с Европой, ни с Азией. Это Россия. Это особенная страна... красивая, широкая, могучая, сильная, богатая, талантливая... любые слова здесь можно подбирать, и всё будет правильно.



Очередь за хлебом

В мои обязанности входило ещё покупать хлеб. А ходить за хлебом в Омске в то время значило чуть ли не с вечера занимать очередь, потому что хлеб привозили только утром. А если пойдёшь утром и чуть-чуть припозднишься, то там уже собирались громадные очереди. Люди стояли вплотную друг к другу и держали друг друга за локти, чтобы никто случайно не втиснулся сбоку. Огромная очередь растягивалась на целый квартал. Одни люди стояли, другие сидели рядом. У нас в городе шли тротуары, а рядом тянулись сухие канавы, где вода скапливалась только после дождя. Вот в этих сухих канавах на пригорочках сидели люди и ждали, когда привезут хлеб или муку. Очередь подходила к окошечку магазина, маленькая часть фрамуги была выставлена, а всё остальное было закрыто, купля-продажа проходила только через это маленькое окошечко. Внутри там стояли весы и находился продавец.

Рядом с этой маленькой лавочкой с покатиистой крышей, где продавался хлеб, находились деревянные ворота в высоком заборе, куда на лошадях въезжала телега с будкой для хлеба. Вот привезут этот хлеб, и сразу же несколько человек кидаются помогать... давайте будем помогать! Давайте будем помогать! (Продавщица, конечно, соглашается, ей тяжело одной хлеб таскать.) Вот они, значит, помогают, а потом встают первыми в очередь.

Кроме помощников без очереди получали хлеб ещё и слепые. На этой же Омской улице, где находилась лавочка с хлебом, немножко подальше стояло белое здание с лестницей, где работали слепые. А ещё дальше находился целый двор с несколькими домами-пристройками, где жили слепые. А перед этим двором стоял особняк с башней, со шпилем, с балконом... я не знаю, кто там жил.

И вот когда привозили хлеб, слепые брали железные клюшки, которыми прощупывали себе дорогу, и шли в этот магазин. Их, как ветеранов войны, пропускали без очереди по несколько человек. Но приходили ещё слепые. Тогда им говорили – через пять человек вставайте. (Очередь раздвигалась, и они послушно вставали через пять человек.)

Но через какое-то время приходили ещё слепые... потом ещё и ещё. Им опять говорили – вставайте через пять человек. (Они вставали уже дальше и дальше через пять человек.) Потом ещё появлялись слепые, и им приходилось вставать уже через 25 человек. И они тогда возмущались, подымали свои клюшки и начинали бить всех подряд по головам. И случались жуткие побоища, некоторых избивали до крови. Все пугались, но в то же время из очереди не уходили. А слепые таким способом пробивали себе дорогу к окошку и там получали хлеб и муку.

Я, например, брал две булки. А хлеб был очень тёплый, даже горячий, прямо из пекарни, и такой ароматный, что, когда несёшь, невольно его нюхаешь. Потом... отщипнёшь кусочек. Потом ещё кусочек, потом ещё кусочек... смотришь, уже полбулки нет.

Ещё надо было сходить за керосином. Керосин продавали около рынка, там тоже стояли огромные очереди, но уже без очереди никто не пытался пройти. Начиналось только бесконечное ожидание, когда привезут керосин. На пустыре около рынка выкопали яму, а туда врыли огромную цистерну с краном. И устроили землянку, лавку для продажи, в этой лавке невозможно было дышать от паров керосина. Там работала женщина, разливавшая керосин. Все приходили с не очень большими бидонами, потому что тяжело их нести, у кого-то два бидона было, у кого-то один, побольше. Я не помню, чтобы кто-то привозил тележку или ещё что. Может быть, каждый день люди ходили за керосином, или через день, или раз в три дня, потому что в летнее время все готовили на примусах. У нас дома тоже был примус, в который наливали керосин. Тонкой иглолочкой прочищали наверху дырочку, закачивали воздух, керосин оттуда распылялся под напором воздуха и загорался от спички.

И когда я стоял в этих длиннющих очередях на жаре, то мне ничего не оставалось, как только рисовать. И я делал наброски женщин, которые сидели на своих бидонах или стояли, потому что прислониться было некуда, все мучились на жаре. Голову они покрывали то газе-

тами, то какими-то платками, потому что солнце пекло нещадно. Сбоку подходили мужики и собирали какие-то остатки керосина. Тут же они сыпали соль в эти остатки, и наверху образовывалась плёнка, которую они снимали и выбрасывали. Оставался технический спирт денатурат. И они тут же чокались и выпивали этот керосиновый спирт. В общем, что только не придумывали после войны, чтобы выпить...

Рядом тут находился рынок, а там столько калек... Рынок можно было перейти напрямую насквозь, с обеих сторон имелись ворота. Здесь входили с улицы 10-летия Октября, а там входили со 2-й линии. И, бывало, идёшь по рынку, а нищих, бывших солдат, так много... и без обеих ног, и без обеих рук, и тоже сидели на жаре, милостыню просили. Некоторые даже не просили, просто у них кепки лежали на земле, и кто что мог им бросал.

Рядом с некоторыми инвалидами находились женщины, часто с детьми. И вот сидит эта женщина рядом со своим мужем-калейкой и кормит грудью ребёнка. Грудь открытая, все ходят, смотрят, а ей на всё наплевать, потому что всё равно жизнь проходила у всех на виду. На виду были и их култышки, и их страдания... вся жизнь, её не скроешь, она вся открыта...

Иногда сквозь этот строй инвалидов проходили репрессированные чеченцы, которые жили в то время в Казахстане, тут недалеко. И вот идут два чеченца, одетые в чёрные свои нарядные костюмы, тут у них на груди патронташи для пуль, ремни с серебряными бляшками и насечками и огромные кинжалы сбоку с выгравированными узорами. И они идут так гордо, будто выступают, смотрят по сторонам и по-своему что-то говорят. Они ни с кем не общались, держались изолированно. Но всё выглядело очень колоритно.

Иногда проходил какой-нибудь казак с саблей. Но саблю я видел ещё на 2-й линии, когда мы там играли с ребятами. Игр разных было много... в лапту играли, в казаки-разбойники, в шандр (так игра называлась). И вдруг один мальчик говорил: ребята, пойдёмте, я вам что-то покажу. Мы все бежали к его дому, он открывал калитку и приносил огромную саблю в ножнах. Видно, что эта военная сабля побывала в боях, он её показывал, все смотрели и трогали эту саблю руками.

Игр тогда было множество, а кроме того, мальчишки ещё объединялись в компании, которые охраняли свои улицы и хозяйничали там, с других улиц уже никого не пускали к себе играть. И я помню, что в нашем доме на чердаке мы устроили штаб, я был там главным. Мы делали сабли из толстой проволоки, мечи вырезали из дерева, иногда сами сражались этими мечами, или просто они у нас висели. Однажды мы сидели на чердаке, а вокруг развесили эти сабли, щиты, и я вижу – отец лезет. Залез в это чердачное окно, посмотрел (а мы там около трубы сидим), ничего не сказал и обратно слез.

Вообще отец на меня имел огромное влияние. Один раз мы собрались с ребятами совершенно на другой улице, на 1-й линии (это улица Куйбышева), и все решили закурить. Закурили и стали друг другу передавать эти сигарки, чтобы затянуться. И мне тоже дали. Я затянулся и начал кашлять. И тут откуда ни возьмись днём идёт отец (он обычно днём никогда не приходил). Увидел меня, подошёл, взял за руку и говорит: я не знал, что ты куришь. Вот, говорит, я не курю, мой отец, твой дедушка, тоже не курил. И мы так прожили жизнь, и никогда не курили, и нас не тянуло к этому. Было бы странно, если бы ты вдруг начал курить.

И вот он так спокойно со мной поговорил, совершенно не повышал голоса, не ругался, ничего... но просто так вот сказал. И этого для меня оказалось достаточно, чтобы я никогда больше не курил. Так же, как я и не пил.

Иногда мы играли в чикку, это сибирская игра. Тогда многие ребята имели большие медные тяжёлые пятаки, ещё царские, мы находили их в земле. И мы подходили к забору, ударяли ребром этого пятака о забор, и пятак куда-нибудь отлетал. А потом так же били серебряными монетками, и они ложились близко к пятаку. Потом мы своими растопыренными пальчиками старались дотянуться от этого пятака до монетки. Если охвата пальцев хватало дотянуться, то

этот игрок выигрывал и забирал себе монетку. Другие тоже так же делали, и никто не был в претензии... ну, выиграл и выиграл.

Потом ещё была игра в ножички. Это на сырой земле выбирали притоптанное место, кто-нибудь вставал и обводил вокруг перочинным ножичком (которые имелись у всех). И потом этот круг делили на три, или четыре части, сколько было человек. И каждый по очереди ударял своим ножичком в землю. Если ножичек не падал, то игрок проводил черту и присоединял к своей территории ещё кусок земли, где у него был воткнут ножичек. Потом вставал уже на эту новую территорию и ещё раз всё это повторял. До тех пор он это делал, пока ножичек не падал. И тогда уже другой мальчик брал ножичек и повторял те же действия. И он или отбирал обратно эту землю, или присоединял к себе с другой стороны кусок земли. И вот так шла игра в эти ножички.

Когда мы приехали в Омск, то меня отдали в 29-ю школу, которая была на 1-й линии в простом одноэтажном здании. И мальчики, и девочки там учились вместе. Когда я в эту школу пришёл, то увидел очень симпатичную девочку за первой партой. Я так на неё посмотрел, и она мне сразу очень понравилась. Но я не знал, где она живёт.

А в школе, несмотря на то что это был только второй класс, все девочки писали мальчикам записки «я тебя люблю». Мне никто не писал, но я видел, что эти записки гуляют по классу. И я думаю – посмотрю, где эта девочка живёт. Когда закончились уроки, она взяла свой портфель и побежала. А я погнался за ней. Она бежит по 1-ой линии, потом повернула за угол, а я всё хочу её догнать, ударить портфелем или дёрнуть за косу (у неё были две длинных косы). И за углом недалеко она вдруг остановилась, это был её дом, а калитка, видимо, оказалась закрыта. И тут я подбежал, на неё портфелем замахнулся. А она так посмотрела на меня и говорит: ну что ж, бей, бей... что ж ты не бьёшь?

И мне стало очень стыдно. Я, конечно, не хотел её бить, она же ничего плохого мне не сделала. Это просто какой-то дурацкий уличный инстинкт сработал, не знаю откуда, ведь можно же было по-нормальному познакомиться. Но так это всё получилось, и я опустил портфель. Она посмотрела на меня, потом ей открыли калитку, и она пошла домой.

Потом я узнал, что это Валя Демидова, что у неё есть сестра Вера и брат Иван, а отец у них шофёр. Ещё у них была корова, и мать меня стала посылать к ним за молоком. Я брал крынку, шёл к ним и там видел эту Валию. И она мне так нравилась, что я просто столбенел около неё. Я даже ничего не мог сказать и ничего не мог сделать, находясь рядом с ней...

Глава 6

08 января 2006 г.

О знакомых поэтах-пьяницах, о холоде в мастерской, о дневной суете. Валя Демидова. Очереди за водой. О соседних психиатрических больницах. Тайное крещение. Рыбалка. Кинофильмы. Зэки в бане. «Грустные ивы» на школьном вечере. Трудности с математикой.

Ночь пятая. Вообще день, конечно, – это суетное время. Вот сейчас рождественские каникулы у всех, люди почти десять дней не работают и так вот маятся. Сегодня приходил пьяный поэт. И что он рассказывал? Он рассказывал, как они пили с другим поэтом, и как у того поэта жена пьёт, и как сын её пьёт. В общем, все они там пьют. И за это время компьютер продали, пропивают одежду, плащи свои, куртки, ну то есть, что-то невероятное. Но у этой компании есть одно свойство – когда запой у них кончается, они идут работать и снова всё приобретают. Опять покупают и диваны, и мягкие кресла, и телевизор, и компьютер. Но тем не менее когда у них запой, то они и на земле возле дома валяются, и всё пропивают, и квартира стоит настежь у них. Захит приходил из их компании, всё это рассказывал.

Во дворе у нас живёт собака Марта, она тоже много суеты приносит, греется тут у печки. У нас здесь вообще нет отопления. Оно разрушено тем, что сосед наш то включал среди зимы горячую воду, то выключал, то снова включал, когда батареи уже заледенели. В общем, он своими действиями разорвал нашу отопительную систему, и мы вот уже второй, или третий год живём без отопления, обогреваемся электрическими печками. Кошка у нас с котёнком. Кошка, как только собаку увидит, сразу бросается на неё, готова ей выцарапать глаза за своего котёнка, хотя эта Марта абсолютно мирная и не трогает ни котёнка, ни кошку. Тем не менее вот такую агрессию кошка проявляет постоянно. Это очень напоминает человеческие отношения.

И поэтому днём я не могу ни сосредоточиться, ни вспомнить что-нибудь. Постоянно какая-то суета и споры с Люсей чуть ли не по любому поводу. Только ночью вот у меня выдаётся несколько часов тишины, когда я могу вспомнить свою жизнь.

Прошлой ночью я закончил на том, как я бежал к воротам Вали Демидовой. И остановился перед ней, поражённый её спокойствием и её словами: ну что, хотел меня ударить? Ну ударяй... (И у меня руки опустились, потому что она мне так нравилась, что какой мог быть удар?) Это какое-то, вообще, сибирское дурачество. Конечно, с тех пор я никогда не пытался её ударить ни портфелем, ни рукой, ни даже... дотронуться до неё. Наоборот, это чувство обожания к ней росло во мне день ото дня, пока я там учился.

Мы учились в 29-й школе всего год, во втором классе, а в третьем классе эту школу ликвидировали. Часть учеников перешла в 65-ю мужскую школу, которая находилась недалеко от нашего дома, на Омской улице, а Валя стала учиться на улице Куйбышева в 31-й женской школе. Таким образом, я её стал видеть реже, но симпатия к этой девочке, первое возникшее чувство, не изменилась. Она мне очень нравилась. У неё были две длинные косы, они спускались чуть ли не до колен. И ещё два синих банта, я помню, ей мама привязывала. Потом, с течением времени, я уже стал наблюдать за её домом, за ней и узнал, что их семья принадлежала к секте молокан. Это такие христиане были в Сибири, которые гордились своей внутренней чистотой и регулярно молились Богу...

Дом наш на 2-й линии стоял недалеко от их дома на Омской улице, в общем, наискосок через дорогу. И каждый раз при мыслях о ней... мне хотелось быть рядом, хотя бы минутку постоять около неё, посмотреть на неё. Есть такая русская народная песня «Вдоль по улице метелица метёт», и там поётся, как юноша хочет остановить девушку и посмотреть на неё...

ты постой, постой, красавица моя, дозволю наглядеться, радость, на тебя. (Такие слова.) Это чистейшая песня во всём русском фольклоре, какое-то прямо обожествление человека, которого любишь.

Меня часто посылали за водой поливать огород, это входило в мои обязанности. Носил я эту воду на коромысле, это деревянная прогнутая дуга, на которой с двух сторон закреплены крючья для дужек от вёдер. Кроме того, я брал ещё одно ведро в руку. Вот в таком виде я шёл на 4-ю линию, где стояла водокачка. Там всегда собирались люди из окрестных домов, потому что все имели огородики, которые требовали полива. И вот под вечер после работы люди выстраивались в громадные очереди за водой. Приезжали на телегах с бочками, накрытыми клеёнкой, или приносили какие-то канистры, или привозили на тележках большие бидоны из-под молока.

И я тоже там стоял в очереди. Но просто ждать в очереди скучно, и я рисовал. Я ходил в пиджачке с внутренним кармашком, где у меня лежал блокнот, в другом кармане находились карандаши. И пока я стоял, я рисовал там женщин с коромыслами, тележки с бидонами. Сама водокачка представляла из себя маленький деревянный домик с окошком, где внутри сидела женщина. Из окошка торчал желобок, по которому деньги катились вниз туда, к ней. Когда моя очередь подходила, то, если у меня было два ведра, я бросал две копейки (одно ведро стоило копейку), если три ведра, то три копейки кидал. А если бросаешь серебряную монету, то она потом руку протягивала и давала сдачу. В общем, всё это проходило в тишине.

Перед водокачкой находился колодец, обитый брёвнами. И когда вытаскиваешь оттуда казённое ведро с водой, чтобы перелить воду в своё ведро, то обязательно заденешь ведром за колодец и расплескаешь воду. Так что колодец всегда был сырой, и от него ещё ручей сбегал вниз по дороге, а потом в канаву.

Когда я шёл обратно, то иногда видел Валю. Она сидела на крылечке дома возле своей калитки и читала книжку. Когда я три ведра нёс (два ведра на коромысле на плече и одно ведро ещё в руке), то мне сначала было это очень тяжело, но стоило мне увидеть Валю, как я совершенно преображался. Мало того, что мне уже казалось всё легко, я ещё снимал с плеча коромысло, поднимал его вверх вместе с этими двумя вёдрами и шёл так мимо неё. Я ходил тогда босиком в подвёрнутых брюках и в стареньком пиджачке, одетом на голое загорелое тело.



Омское детство

А Валя всё читала книжку и как бы меня не замечала. Потом, когда я за угол поворачивал уже на свою улицу, я опять опускал эти вёдра и шёл, шатаюсь, потому что всё-таки это тяжесть была большая для таких худеньких плеч. Иногда я ходил за водой два или три раза. У нас дома в сенях стояла бочка, которую надо было наполнить водой. И потом вечером мы уже из этой бочки брали воду и поливали наш огородик.

Иногда Валя выпускала свою корову, которая щипала траву по краям канавы у тротуара, а сама опять читала книжку. А я, если дел никаких не было, вставал недалеко от неё и рисовал, как она читает книжку, и тут бродит её корова. Но рисовал я тогда плохо, у меня выходило всё отрывочными линиями. Она, конечно, замечала, что я её рисую, но ничего никогда мне не говорила.

Вечерами, когда становилось тихо, я опять шёл к её дому. На углу нашей 2-й линии и её Омской улицы стоял высокий столб с фонарём наверху, он освещал под собой небольшое пространство. Кругом было уже темно и тихо. Конечно, в Валином доме тоже все спали. И мне казалось (или это было на самом деле), что где-то звучала песня «Одинокая гармонь»... что ты ходишь всю ночь одиноко, что ты девушкам спать не даёшь?

Вееет с поля ночная прохлада,
С яблонь цвет облетает густой,
Ты признайся, кого тебе надо,
Ты скажи, гармонист молодой.
Ты признайся, кого тебе надо,
Ты скажи, гармонист молодой.
Может, радость твоя недалёко,
Но не знает, её ли ты ждёшь,
Что ж ты бродишь всю ночь одиноко,
Что ж ты девушкам спать не даёшь?

Что ж ты бродишь всю ночь одиноко,
Что ж ты девушкам спать не даёшь?

Вот это была моя первая любовь, долго потом я её вспоминал, когда уже уехал в Москву. Может быть, я ещё расскажу, как я издали следил за её жизнью в дальнейшем, как она стала журналисткой, вышла замуж и уехала из Омска в Калининград. Потом я её потерял из виду и совсем недавно случайно нашёл. Оказалось, что она живёт в Москве, что у неё тут дети и муж. Наконец, мы встретились, она приходила к нам в мастерскую на Таганке. Она увидела, что я уже полуслепой, с большим давлением, хожу, качаюсь. И говорит Люсе – он же совсем больной, как ты с ним живёшь? (Сама она очень располнела, прихрамывала и пила таблетки от давления.) На лице её уже отсутствовала та миловидность, которая очаровывала меня в детстве, а было выражение лишь какой-то серьёзной суровости. То есть она, как и все в её возрасте, чувствовала себя хозяйкой над своими детьми, над мужем и несла на себе заботу и ответственность.

Я хочу вспомнить ещё одно впечатление от тех лет и от нашего дома. Мать лежала в 37-м году в психиатрической больнице на 1-й линии. Старое четырёх этажное здание этой больницы (оно стоит до сих пор) возвышалось над нашими одноэтажными домиками и как бы доминировало над всей округой. И оттуда постоянно раздавались крики душевнобольных, особенно это было слышно под вечер, когда уже садилось солнце.

Я любил рисовать акварелью закат солнца, сидя на крыше сарайчика. Туда я забирался по забору, который состоял из небрежно сколоченных досок, кое-где обитых железом, потом цеплялся за край крыши и залазил на неё. Крыша ещё не остыла от дневного нагрева солнцем, и с неё был виден угол этой высокой психиатрической больницы, откуда доносились странные крики. Я думаю, что после войны не было ещё таких лекарств в психиатрии, которые бы купировали болезнь и смягчали страдания больных. И, возможно, от этих душевных терзаний, от этих страхов больные люди хватались за решётки, трясли их и кричали на улицу – помогите, помогите...

И их голоса неслись в сторону Омки, в сторону обрыва, дальше по всему лугу и поднимались на другую сторону по другим оврагам. А там тоже находился одноэтажный город, и эти душераздирающие больничные крики и там были слышны по вечерам. Возможно, они раздавались и днём, но днём тут стоял шум, ходили машины, разговаривали люди, и меня часто днём дома не было. А вот вечером, в вечерней тишине, когда уже солнце уходило за горизонт и всё постепенно погружалось во мрак, когда старый сарай против солнца казался просто тёмным пятном и в огороде все подсолнухи таинственно качались в темноте... начинали разноситься по всей округе эти отчаянные крики.



На крыше сарая

После войны душевнобольных стало ещё больше, в палатах старой больницы на 1-й линии появилась невыносимая теснота, одной больницы уже не хватало. И тогда на углу 4-й линии и Омской улицы, напротив водокачки, выделили ещё одно здание для психиатрической больницы.

В 2002 году я ездил в Омск и был в той старой больнице на 1-й линии. Мне разрешили там рисовать и даже показывали больничный музей. Я видел кандалы, которыми сковывали больных ещё до революции, ужасные замки, какие-то длинные смиренные рубашки. И одновременно на стендах лежали альбомы со старыми фотографиями.

Я нашёл фотографии за 37-й год, когда там лежала мать. И я поразился, в каких условиях находились тогда люди в этой больнице. Кроватей не хватало, две кровати соединялись вместе, и там спали три женщины, под кроватями на полу на матрасе ещё лежали женщины, то есть уже тогда больница была переполнена. Женщинам руки связывали длинными рукавами, они ходили босиком и остриженные.

На этой 4-й линии здание психиатрической больницы было тоже старинное, с огромными зарешечёнными окнами, а внизу находилось как бы подвальное помещение, но его окна немного возвышались над землёй и тоже выходили на улицу. И если встать напротив окошка, то таким образом можно было видеть всю палату, потому что она находилась ниже земли. Виделись и кровати, и полуголые и голые больные женщины. Некоторые сидели у подоконника за решёткой на уровне земли и смотрели на улицу, как тут люди ходят по улице, как идут за водой на водокачку.

Но от этих окон исходил всегда спёртый кислотный запах, там или совсем не проветривали, или мало проветривали. Женщины и девушки имели какой-то неопределённый возраст,

они обречённо сидели, смотрели, некоторые протягивали руки через решётки на улицу, просили не то деньги, не то еду, но им почти никто ничего никогда не давал.

А если повернуть за угол этой психиатрической больницы и пойти по 4-й линии (где у меня жил товарищ Гена Девятков, к которому я часто ходил), то там простирался деревянный забор со щелями, который огораживал больничный двор. И мы часто смотрели через эти щели, как там гуляют больные женщины. Некоторые сидели спокойно, некоторые бегали по двору в длинных рубашках, а некоторые стояли возле забора с тоненьким прутиком. И когда человек подставлял глаз к забору, то они этим прутиком старались ударить ему прямо в глаз, чтобы он не смотрел.

На Омскую улицу выходили калитка и ворота этой больницы, они постоянно были открыты. Пищу для обеих больниц готовили на кухне на 1-й линии и оттуда доставляли сюда, на 4-ю линию. Суп привозили в больших чанах (летом на телегах, а зимой на санях). Это я тоже видел как-то случайно, зимой. Шёл мимо, смотрю – открываются ворота на 1-й линии и выезжают оттуда сани с большим чаном. На санях сидит какой-то странный человек, тоже больной, наверно.

Я иногда вот думаю, что было такое страшное время, когда в психиатрических больницах некоторые люди, возможно, просто прятались, не будучи больными, притворялись по разным причинам. И они могли выполнять такие вот работы – возить, например, обед из одного корпуса больницы в другой. Я помню эти сани и эти огромные кастрюли, на которых было написано красной краской – «1-е отделение», «2-е отделение».

Вообще я не то что был нелюбопытный, а во мне воспитали скромность, как бы не лезть туда, куда не просят. Я бы мог сто раз уже зайти в эту больницу и посмотреть там всё изнутри, но что-то меня удерживало, я не мог. Однажды только я зашёл во двор, посмотрел, как эта больница выглядит со двора, где гуляют больные женщины. Это всё не было огорожено, ничего не охранялось, женщины гуляли какие-то тихие, послушные, никто там не ругался, не кричал, не возмущался. И в том же самом дворе находилось длинное помещение, в котором стоял орган и лавки поперёк большого зала. Там собирались баптисты и молокане, то есть сектанты, туда же ходила бабушка Вали Демидовой. И один раз я видел, как Валя приходила с этой бабушкой, сидела там на лавочке. И это было для меня как-то ново, незнакомо.

В нашей семье никогда никаких икон не было. Отец как бы презирал все эти церковные дела, он был членом партии, секретарём парторганизации. А мать настолько подчинялась отцу и так была погружена в заботы о семье и детях, что тоже никогда не говорила о церкви. Но она мне рассказала позже: Гена, когда ты был маленький, а мы оба с отцом работали, то мы тебя хотели оставлять у соседки. Но эта женщина сразу спросила: он крещённый? – А отец резко ответил: нет, и никогда не будет крещённым. – Ну и та женщина сказала: тогда я не буду с ним сидеть, с нехристом двухголовым.

А почему она так сказала? Потому что у меня на голове было две макушки. В городе тогда работала всего одна церковь, это был собор за центральным базаром, совсем в другом районе. И мать тайно от отца пошла со мной и с этой женщиной в собор, и там меня окрестили. Отцу об этом мать никогда не говорила, она вообще боялась отца и никогда не рассказывала ему о своём прошлом и о своей семье.

Но когда уже я учился в Москве и приехал в Омск на каникулы, она мне рассказала про страшный далёкий случай в нашей семье. Стояла холодная зима, ночь и вьюга, которая заметает снегом в Сибири дома почти до крыши. И вдруг, говорит, сначала в окно постучали, а потом в дверь. Я побежала, открыла дверь и вдруг вижу, говорит, стоит мой отец. (Это после того, как его репрессировали в 37-м и сообщили, что он умер на этапе.) И он шепчет мне: Люся, дочка...пусти меня... (Я, говорит, смотрю – худой, обросший весь, замёрзший, в какой-то, шапке ушанке, в телогрейке...)

Но в это время (по словам матери) её отодвинула рука отца. Он тоже проснулся, вышел и стал выталкивать и руками, и ногами этого человека: пошёл вон отсюда, бродяга. – Мать умоляла: Миша,пусти его, это же мой отец. – Но он кричал: нечего ему тут делать, он должен сидеть в тюрьме. (И прогнал его.) Мать это всегда помнила и каждый раз очень переживала, когда рассказывала.



Рыбалка

У меня в детстве в Омске были товарищи – Гена Девятов, который жил на 4-й линии, и Валька Оськин, сын художника, их дом стоял напротив дома Вали Демидовой, на другой стороне улицы. Ещё дружил с нами Лёва Горецкий, сын зубного врача, его дом соседствовал с домом Вали. И вот мы все собирались и ходили на рыбалку. Но чтобы пойти на рыбалку, надо сначала приготовить удочки, я покупал бамбуковые удочки в городе на улице Ленина в магазине «Рыболов-спортсмен». Мать иногда мне давала деньги на мороженое, я копил их и покупал эти удочки.

Но первое, что я купил, когда скопил деньги от мороженого, – это тарелка, потому что, когда мы приехали с Дальнего Востока, у нас не было никакой посуды, кроме кружек. Мы кушали из чего придётся – и из каких-то глиняных чашек, и из консервных банок, у которых отец отбивал молотком острые края. Я пошёл в ювелирный магазин, там под стеклом лежала красивая тарелка с золотым ободом, расписанная цветами (может, даже старинная), и я её купил за три рубля. Принёс домой. Это была первая тарелка, из неё потом ел отец.

А отец привёз из Германии две ложки. Одна ложка была оловянная, и её конец изображал рыбку, которая как бы заглатывает эту ложку. А на ручке второй, стальной ложки был выбит немецкий орёл с расправленными крыльями и со свастикой в венке. Этой ложкой отец всегда ел сам. После смерти отца (несколько лет назад) я поехал в Красноярск и спросил у Тамары Яковлевны (его второй жены): а где эта папина ложка со свастикой? – А она ответила: а зачем

коммунисту ложка со свастикой? У нас нет такой ложки. (Значит, так и пропала память о том времени.)

Главным нашим развлечением и удовольствием являлась рыбалка. С Геней Девятовым и с Валькой Оськиным мы постоянно ходили рыбачить на Омку. Там мы закидывали удочки, а сами купались. Но вода в Омке мутная, течение сильное, и сама река довольно глубокая. Поэтому больше нам нравилось ходить на Иртыш. А на Иртыш как? Моста не было на другую сторону, только паром. Иногда тут рыбачили, около парома, в другой раз рыбачили там, где Омка соединяется с Иртышом. Там проходил деревянный мост, перед которым стояли быки для сдерживания льда в ледоход. То есть для того, чтобы ледоход не сорвал этот мост, в дно были вбиты сваи, а сверху на них наискосок крепились доски. Лдины в ледоход напозлали на эти быки, а потом скатывались и разламывались.

Место это было оживлённейшее. Летом, когда стояла жара, то с этого моста обязательно кто-нибудь нырял. Я помню, однажды залез на мост инвалид с одной ногой. Но он уверенно стоял, даже не шатался, тело у него выглядело спортивным, хотя второй ноги не было по самый таз. И вот он руки раздвинул назад, оттолкнулся ногой и полетел вниз в воду ласточкой. Потом вынырнул, и все только ахнули... такой молодец. Там же и другие ребята залазили и прыгали с моста, брызгались водой. Солнце светило, жизнь бурлила, в общем, как-то весело проходило время. Тут же лошади шли с сеном, целые возы везли с продуктами. Машин тогда было ещё мало, все ездили как-то на лошадях.

Если шли интересные фильмы, то я просил денег у матери на кино, я всегда любил ходить в кино. Когда мы жили в городе Ворошилове на Дальнем Востоке, то появились первые цветные иностранные фильмы, один назывался «Маугли», а другой «Джунгли». Это два красивейших сказочных фильма про мальчика, который воспитывался среди зверей и стал вожаком в царстве джунглей. Потом ещё шёл фильм «Багдадский вор», это тоже про ловкого юношу, который воровал в Багдаде, но я уже почти забыл этот фильм. Я помню только там восточный базар, все торгуют, и этот забавный мальчик то у одного возьмёт попробовать что-нибудь, то у другого. Потом там великан из бутылки выскакивал... в общем, сказочные шли фильмы, которые отвлекали людей от их повседневной очень бедной жизни.

В Омске было два кинотеатра, которые стояли один против другого, один назывался «Художественный», а другой «Гигант». И вот про этот «Гигант» рассказывали страшные вещи, как во время войны там орудовала преступная банда. Кинотеатр был деревянный, огромный, и бандиты заманивали детей и девушек посмотреть кино бесплатно. Надо было зайти наверх не с центрального входа, а по другой лесенке с задней стороны. И когда люди припадали там к щелям, чтобы посмотреть бесплатно фильм, то их насиловали, убивали, разрезали на куски... в общем, разное такое рассказывали. Вообще-то город был беспокойный, особенно там, где мы жили, на окраине.

Я до сих пор удивляюсь, как я ходил иногда ночью, когда задерживался где-нибудь на Иртыше. Пока переправишься, если на другой стороне был, пока придёшь, уже ночь, светит луна. А тут нет ни одного фонаря, ничего, ещё с двух сторон улицы клёны раскидистые росли, в общем, страшно было ходить. Я шёл всегда по дороге, потому что по тротуару боялся, думал – мало ли, а вдруг кто-то на лавочке сидит, вскочит, на меня нападёт. И я шёл прямо посреди дороги, думал, если кто-нибудь набросится, то я убегу. И всегда у меня в кармане находился ножичек перочинный. Когда я шёл вечером, то сжимал его в руке на всякий случай, иногда в самых опасных темных местах я его даже раскрывал и так добирался до своего дома. А как же ходил отец? Он же возвращался ещё позже, чем я, в час ночи. Как он не боялся по этим улицам ходить? Это удивительно.

Вообще отец умел приспособиться к жизни. На фронте он был связистом. Когда мы стали здесь жить на 2-й линии, у нас даже свет сначала отсутствовал. А на улице стоял электрический столб. И отец где-то нашёл металлические кошки, залез на столб на самый верх, разобрался в

проводах, которые шли во все стороны ко всем домам, и как-то провёл свет в наш дом. Я уже говорил, что и печку он мог сложить, и полы перестелить. Сам выкопал во дворе погреб (я ему там немножко помогал). Он говорил: Ген, ты только не прислоняйся спиной к сырой глине, потому что тебе кажется, что жарко, а у тебя спина незащищённая, можешь простудиться. (Это он говорил, потому что я действительно был болезненный и часто кашлял.)

Зимой у нас морозы стояли под сорок градусов, это как бы нормально зимой, и я ходил чуть ли не нараспашку. У меня до сих пор такая привычка осталась, я зимой хожу в свитере и пиджаке, и пиджак не застёгиваю, хотя все ходят в Москве тут в шубах, в шапках, с воротниками, одевают ещё шарфы до пола. А я иду в пиджачке, а если и повязываю шарфик, то это больше для фасона, мне и так не холодно, я привык, потому что в Сибири бывали морозы и пострашнее.

В баню мы с отцом ходили за несколько кварталов. Она находилась (по рассказам) в старинном здании бывшего банка, здание украшали скульптуры, кариатиды, портики, мраморные колонки, разные узоры и завитушки. А наверху стояли металлические башенки, опоясанные такими же металлическими ленточками, и оттуда вверх тянулся шпиль с флюгером.

Баня была трёхэтажной и стояла на углу. Когда мы туда приходили, там всегда собиралась большущая очередь. Вообще после войны везде были очереди. Мы стояли на первом этаже, потом по лестнице постепенно поднимались на второй этаж, дальше очередь поворачивала на третий этаж, и только после этого уже люди попадали в баню. Конечно, когда я стоял в этой очереди, я тоже рисовал огрызками карандашей мужиков со своими свёртками, хотя там было темно. Женщины в баню приходили с детьми и в основном с тазами, они там у себя в женском отделении заодно и стирали что-нибудь.

В мужском отделении в большом зале стояли лавки, на которых люди раздевались. Шкафов не было, просто раздевались, оставляли своё бельё на лавке, и банщица давала с собой номерочек. А после мытья он должен был совпасть с тем номером, под которым лежала наша одежда. Всё было открыто, легко можно было взять соседнюю одежду, или ботинки поменять, или ещё что-нибудь (я так думаю). И ещё по этим номеркам нам выдавали тазы.

И вот мы входили в огромное моечное помещение с металлическими лавками, но негладкими, а как бы из мелких камешков. Посреди зала находились стойки с кранами горячей и холодной воды. Они тоже были какие-то мраморные с узорами, и даже краны казались узорчатыми. В общем, всё выдавало какой-то купеческий стиль. Отец меня учил: Гена, голову надо мыть в трёх водах... сначала помой голову горячей водой, следом намыливай ещё раз, опять смывай. А потом уже пойдёшь в душ. (Душ стоял отдельно, там люди тоже мылись).

Я смотрел на мужские тела и не переставал удивляться, почти все мужики были выколоты. Иногда наколки представляли прямо целые картины и на спинах, и на руках, и на ногах. И я так понял, что наш Омск – город заключённых. Мы с отцом, может, были единственными без наколок на фоне всех остальных. Казалось, что всё это были люди, прошедшие лагеря, сидевшие там подолгу. Так вот на улице под одеждой ничего не видно, а в бане всё это обнажено. Каких только наколок не было... и хулиганские, и серьёзные. На спине обычно рисовали соборы с куполами, с крестами, на руках тоже колокола изображали (это значило сидеть «от звонка до звонка»). Звёзды на коленях означали «никогда не опущусь на колени перед властью». В общем, это были всё такие свободолюбивые люди, с гонором... я не опущусь на колени, я никогда руки не подам...

Мне было, конечно, интересно, я смотрел, как на какой-то новый мир, другой мир, мне совершенно неизвестный. Некоторые приходили на костылях и тщательно намыливали и тёрли мочалкой свои костыли, будто это были их ноги. Иногда мы ходили в парную, там на больших лавках, которые шли наверх, тоже сидели такие же выколотые бывшие зэки. Парились там, дышали воздухом горячим.

Но с такими бывшими заключёнными я встречался не только в бане, иногда я их видел и в других местах. Однажды смотрю... сидит на берегу какой-то мужик в зелёной клетчатой рубашке. Я так пристроился недалеко и стал его рисовать. А он в тапочках почему-то, и одет как-то очень простенько, будто вышел только что из лагеря.

А однажды я зашёл далеко-далеко на другую сторону Иртыша и сел там рисовать. Рисовал луг, стога сена, уже стояла осень. Город находился позади меня, я смотрел в сторону степи. И вдруг слышу какие-то выстрелы. Я оборачиваюсь, смотрю... на другой стороне Иртыша, где город находился, какая-то суета поднялась, бегают люди, стреляют, дым идёт. Оказалось, что там был лагерь для заключённых, и оттуда сбежал человек. И вот он бросился в Иртыш и поплыл на мою сторону. И там стреляли, стреляли, но, видно, лодок не было у них, чтобы организовать погоню, в общем, никто его не догнал.



Степные дали

Я сижу, рисую. И вдруг позади меня вырастает фигура мужика, худого, без шапки, стриженного, в клетчатой рубашке (у всех заключённых почему-то клетчатые рубашки). Он подошёл ко мне и говорит: рисуешь? – Я отвечаю: рисую. – Он спрашивает: хлеб есть? – Я отвечаю: есть. – Давай. (Я дал ему хлеба). Он говорит: а ножик есть? – Я киваю головой: есть. – Давай сюда. (Я ему и ножик отдал.) Он повернулся: ладно, рисуй.

И пошёл в степь.

Со своими мальчишками мы обычно днём играли, а вечерами собирались на лавочке. Там в одном доме мы знали крыльцо, где никто никогда не ходил, оно всегда было закрыто (заходили, наверно, с другой стороны в этот дом). И мы на этом крылечке сидели и рассказывали, кто что знает. Я рассказывал разные истории, которые прочитал в книжках, другие тоже вспоминали что-то необычное. Уже темно становилось и немножко даже страшновато. И в это время мать моя кричала в темноту: Гена-а-а... Гена-а-а... Гена-а-а... (То есть она совершенно не знала куда кричать, в какую сторону, где я.) Я ребятам говорил: ну вот, меня зовут, я пойду.

В клубе слепых иногда устраивались вечера, на гармошке там играли одни слепые, другие слепые пели. Впереди на сцене сидел гармонист, а сзади него стоял хор из слепых женщин. И все пели песни военного времени. А ребята никогда не сидели на стульях, а садились на коленках прямо на полу вокруг сцены и смотрели на этих слепых снизу. Я тоже с ними там сидел. А в зале находились слепые. В общем, много было после войны и слепых, и инвалидов. Я думаю, что постоянная близость с этими слепыми и инвалидами в детстве отразилась потом на моём творчестве. И это всё было так естественно, само собой.

Ещё я помню, как в 65-й школе, в которой я учился, проходил вечер. И мать с отцом тоже пришли на этот вечер. Я выступал, должен был спеть песню. В большом тёмном зале сидели все родители. Я пел «Грустные ивы»:

Грустные ивы стоят у пруда,
Месяц глядит с вышины.
Тёмному берегу шепчет волна
Имя героя войны.
В тёмную ночь он не спал, не дремал,
Землю родную берёг,
В чаще лесной он шаги услышал
И с автоматом залёг.
В чаще лесной он шаги услышал
И с автоматом залёг.
Тёмные тени в тумане росли...

Забыл... позор какой, я эту песню помнил всю жизнь. В общем...

Тёмные тени в тумане росли,
Туча на небе темна...

...что-то такое, и пришлось пограничнику встретить врага. Ой, забыл, надо же, вот старость, забыл песню. Это песня довоенного времени или сочинённая сразу в начале войны. Там поётся о первых бойцах, которые с обыкновенными винтовками встретили немцев, а у тех уже были и танки, и самолёты. И эти бойцы, конечно, все погибли.

Вместе с Победой спокойные дни
В эти вернутся края,
Ночью над тихой заставой огни
Вновь зажигают друзья.
Ночью над тихой заставой огни
Вновь зажигают друзья.

Эту песню я пел в школе на вечере. Но в этой же школе меня оставили на осень, потому что я совершенно не понимал математику. Отец учил меня перспективе, мы рисовали, как столбы уходят вдаль, уменьшаясь, как дома деформируются в линейной перспективе, рассказывал мне о воздушной перспективе, учил шрифтам.

Но кроме этого он занимался со мной математикой. Я же был абсолютно тупой по отношению к цифрам, я совершенно в них не разбирался. И отец очень нервничал и возмущался: медведя можно выучить за это время, а ты не можешь никак понять. (А я действительно не понимал.) Но чем больше он кричал, тем я ещё меньше понимал. И в конце концов меня оста-

вили на осень по математике. Я должен был осенью пересдавать эту математику, чтобы учиться дальше.

Но подошло уже время посылать работы в Москву.

Глава 7

08 января 2006 г.

Прощание со школой в Омске. Смерть Бори Лизина. Детский фольклор. Прятки. Купанье на Иртыше. Поезд в Москву. Наставления отца.

Ну, немножко вспомнил я эту песню:

Тёмные тени в тумане росли,
Туча на небе темна.
Первый снаряд разорвался вдали –
Так начиналась война.
Трудно держаться бойцу одному,
Трудно атаку отбить,
Вот и пришлось на рассвете ему
Голову честно сложить.
Вот и пришлось на рассвете ему
Голову честно сложить.

Вот такую песню я им спел. Это была, наверно, прощальная моя песня, прощание с этой школой, потому что в это же лето отец купил большой альбом, на обложке которого была изображена картина Перова «Крёстный ход» с пьяным священником, наклеил мои рисунки с 2-х сторон на все листочки альбома, завернул его в тряпку, зашил, написал там адрес и послал в Москву. И мы стали ждать ответа.

За это время в нашей компании ребят, которые собирались и вечерами и днём играли в разные игры, произошёл ужасный случай. Боря Лизин (это его фамилия) был мальчик из крайнего дома по 2-й линии, жил он с братом поменьше, с матерью и отцом. Отец работал на 29-м заводе, каждое утро он уезжал на автобусе на этот завод и возвращался уже вечером. А как в простых семьях? Подрос мальчик, значит, он должен работать тоже. И отец там договорился, и его взяли на работу, наверно, помощником какого-нибудь слесаря.

Завод находился на окраине города, и туда ходил автобус, который возил рабочих. И всегда этот автобус был переполненный, всегда. Там набивалось столько народу, что двери даже не закрывались, и люди просто держались друг за друга, чтобы не упасть. Ну а Боря говорит: папа, я сзади поеду, уцеплюсь там за поручень (сзади автобуса упор был наварен). – Отец отвечает: ладно, держись только крепче.

И вот он встал на подножку (какая-то там высывалась рельса) и держался рукой за этот поручень. Пока автобус шёл по асфальту, всё было нормально. Но потом автобус съехал с асфальта, и пошла булыжная мостовая. А дальше эта булыжная мостовая стала переходить в обычную просёлочную дорогу с большими ямами и камнями, и автобус стало бросать из стороны в сторону.

И Боря не удержался, упал и головой ударился прямо о камни. И сразу насмерть.



Первые рисунки и акварели

Это была первая близкая смерть, которую я пережил. Мать Борьки пришла к моей матери и попросила: Людмила Ивановна, нарисуйте портрет его, вставим в рамочку, понесём на кладбище.

Мать нарисовала портрет Борьки с маленькой фотографии, я нёс этот портрет впереди всей траурной процессии. И так мы пешком шли от его дома до самой могилки на кладбище (которое тоже находилось далеко за городом). Ехала открытая машина, но на длинных вышитых полотенцах мужики несли гроб на руках. Они менялись – то одни, то другие несли, потому

что было тяжело и стояла жара. Похоронную процессию сопровождала музыка, «Траурный марш» Шопена исполнял духовой оркестр. Всё это звучало очень громко, звуки прямо скребли по душе. Процессия прошла мимо базара, там высыпали люди, все смотрели на эту сцену похорон.

Вообще эта сцена была нередкая, потому что город хоронил всех именно этой дорогой, мимо базара на кладбище часто ходили такие процессии. Но они как-то раньше не задевали, просто любопытно было, и всё. А здесь, когда это Борька, когда ты знал этого хорошего паренька, и вдруг его не стало... конечно, это всё ужасно. На поминки собралось много народу. Выставили целую бочку браги, на край повесили ковшик, кто хотел, пили эту брагу. А брагу делали – значит, чернослив мешали с сахаром и водой, туда подмешивали дрожжи, и получалась брага. Я тоже, помню, выпил глоток, и у меня в голове прямо всё загудело от этой браги.

Так проходило время в Омске перед моим отъездом в Москву. Днём мы все гуляли на улице, я и две мои сестрёнки, одетые как куколочки. Мать им шила пелеринки со всякими помпончиками, кружевами, они сидели на краю канавы, а я играл тут в бабки, или в лапту, или в разрывные цепи мы играли. И только когда вдруг шла Валя, то я останавливался как вкопанный и смотрел на неё, не мог уже ни играть, ничего. А мне кричали: ну что ж ты, давай, давай, бей по мячу... (А я смотрел, и пока она не пройдёт, ничего уже делать не мог.) Потом опять продолжали играть.

А то вдруг грянет дождь, и следом солнце. Крыша блестит, всё это отражается, ручьи текут отовсюду. Мальчишки бегают босиком, все загорелые, худенькие, и девчонки тоже тут. Напротив нас стоял старинный двух этажный дом с двумя шпилями на крыше и с балконом, но балкон скорее являлся большой открытой верандой. И из этого дома девочки тоже выбегали и кричали – дождик, пуще, дам тебе я гуши... (что-то такое). А если божьи коровки на руку садились, то они этих божьих коровок отпускали и говорили – божья коровка, улети на небо, принеси мне хлеба, чёрного, белого, только не горелого.

Иногда девочки из этого дома напротив (там евреи жили) заводили игру: здравствуйте, царь Соломон. – Надо было отвечать: здравствуйте, милые детки, где вы были? – Они начинали показывать руками – там, там они были. А он должен был угадать. Или в кружок все встанут и считают: на золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, кто ты будешь такой? – И вот на кого укажут, тот должен говорить, например, сапожник. (И опять считают.) На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник (и, значит, уходит этот человек). Опять заново считают. Вот такие интересные были игры. Ещё играли в прятки, дети прятались по кустам, за столбами, за воротами... так как-то дружно жили все.

Иногда мы ходили с Геной Девятовым плавать на Иртыш. Гена Девятов очень хорошо научился плавать, он худенький был, загорелый. А мне всё это с трудом давалось, я только пособачьи плавал. Ещё я плавал на боку, но на спинке так и не научился плавать, погружался в воду. А Гена и на спинке плавал. И вот один раз мы плывём, а рядом с нами какой-то человек плывёт. И вдруг Гена подплывает ко мне и говорит: смотри, это труп. (И мы видим, действительно, лежит на воде человек мёртвый.) Он уже раздулся, его, видимо, подняло со дна.

Потом мы заплывали до середины Иртыша. Там уже шли пароходы и тащили длинные плоты, связанные брёвна. И вот мы залазили на эти плоты, а потом с них ныряли в воду. Снова заползали на другие плоты, опять ныряли. Так у нас проходило время, солнечное, весёлое. Да... А во дворе у этого Гены росли яблоки. Причём эти яблочки были маленькие-маленькие на длинных ножках. Ну до того они казались сладкими, прямо таяли во рту. Вот мы залезали на дерево и там эти яблочки кушали. Много таких моментов интересных в детстве было. (Потом этот Гена уехал с матерью в Магадан.)

Как бы всё это ни было хорошо, но пришёл ответ из Москвы: приезжайте, вы допущены, будете сдавать экзамены.

И тогда мы стали быстро собираться. Отец купил билеты на поезд в купейный вагон. А мать сначала никак не могла понять, что я уезжаю. Потом, когда уже мы пошли, она как закричит: Геночка! Куда ты, куда ты? На кого ты меня бросаешь? Геночка... – и кричит, за сердце хватается, бежит за нами. – А отец мне говорит: пойдём быстрее, не оборачивайся... (И вот так ушли.)

Пришли на вокзал, здесь нас ждал поезд Владивосток – Москва. Мы сели в купейный вагон, поехали. Было так необычно, первый раз я ехал в купейном вагоне, устланном коврами, в тишине. А рядом с нами в соседнем купе ехали ещё два каких-то начальника, видимо, изда-лека. Они играли в карты, пили пиво. А когда официант проходил мимо, носил из ресторана еду, напитки, то они ему кричали: эй, человек (и рукой подзывали). Он подходил. А я услы-шал, что они так зовут, и тоже крикнул: эй, человек. – А отец на меня посмотрел и говорит: Гена, ты что? Ты хоть понимаешь, что ты сказал? Ведь это же оскорбительно так называть, что он, хуже нас, что ли? Разве можно так обращаться, будто мы какие-то господа? (И мне очень стыдно стало.)

Когда мы ехали, отец говорил: Ген, давай доставай блокнот и рисуй вот эти пейзажи за окном. Видишь, вот поля были, теперь наступают Уральские горы, холмы, леса, тут деревенька внизу. Вот ты рисуй это всё, зарисовывай, потому что ты не должен ничего выдумывать, рисуй всегда только то, что вокруг тебя. Потом изменятся обстоятельства, вокруг тебя будет другая обстановка, ты и её рисуй. Если ещё будет другая обстановка, ты уже её рисуй. И в конце концов в итоге у тебя получится большая панорама жизни. Будешь на море – рисуй море, будешь в горах – рисуй горы, в степи – рисуй степь.

Никогда ничего не выдумывай, но то, что видишь, очень хорошо старайся сделать. И подмечай всякие детали. Твоя сила в твоей непосредственности, как ты, например, замечаешь какого-нибудь мальчишку на элеваторе, где сыпется зерно, а он там сидит наверху. Обычный художник это и не заметит или скажет – ерунда какая-то. А ты вот своей непосредствен-ностью изображаешь жизнь богаче, разнообразнее, интереснее. Твои рисунки интересно смот-реть, потому что там всё как-то подмечено, всё очень живо...



В Омске на рынке



В огороде

И потом учти, когда приедешь в Москву и будешь общаться с москвичами, с детьми художников, с детьми знаменитых обеспеченных людей, ты должен понять, что твоя сила в твоих рисунках. И когда повесят их рисунки и твои, то ты увидишь, что твои рисунки будут очень отличаться в лучшую сторону, потому что они наполнены живой жизнью, которую они никогда не увидят, сидя в Москве. У них будет опыт жизни другой, столичный, а у тебя опыт жизни народной.

Я (отец говорит) принёс твои рисунки в свой Союз художников в Омске, и там собрались старые преподаватели ещё училища Врубеля, они уже теперь народные художники. И когда я на полу разложил твои работы, то они пришли просто в восторг. Кондратий Петрович Белов упал на колени, ползает по полу среди твоих рисунков и только повторяет: ах, Генка! Ах, черт, ах, молодец! Что же он творит-то! Что же творит-то, посмотрите! Это просто чудо какое-то, нам в жизни этого не сделать... (Это всё про мои рисунки и акварели отец мне говорил.)

А там были акварели Иртыша, бакены, пароходы дальше плывут, горы там вдали, закаты. Сарайчики какие-то, сухие деревья на фоне уходящего неба, скользящие тени на заборе, на домах, когда солнце подвигается, в общем, всё пейзажи. Или я рисовал облака кучевые огромные, панораму на лугу, вот эти домики, так называемый самострой. Они уходят вдаль, и этих домиков тысячи, так люди жили после войны.



Окраины Омска

Ещё, говорит отец, навсегда запомни: не делай чужого, делай только своё, и ты будешь всегда оригинален. (Вот с такими разговорами и мыслями мы подъехали к Москве и вышли на перрон Казанского вокзала.)

Глава 8

09 января 2006 г.

Приезд в Москву. «Мир новый». МСХШ. Фатины. Вступительный экзамен. Отец-педагог. Воспоминания о сибирских зимах и простудах. С отцом в Третьяковке. Дети в интернате.

Ночь шестая. То, что я увидел на перроне Казанского вокзала, когда мы приехали из Сибири в Москву, можно только выразить словами «мир новый глазам открылся». Жизнь просто бурлила в Москве. Огромные дома, метро, электрички тут ходят по эстакаде на Казанском вокзале, такси... в общем, всё-всё я видел впервые. Я только смотрел во все глаза и даже не пытался ничего осознавать, потому что всё буквально, от названия улиц до расположения домов, было другим, чем в Омске. В Омске и шла-то всего одна главная улица Ленина. А тут такие широчайшие проспекты, движение машин в оба конца в 12 рядов, море всяких флагов, транспарантов, шума какого-то...



Москва 1951 года. У трёх вокзалов

Это был разгар лета, июнь месяц. Конечно, первым делом мы поехали с отцом в эту московскую среднюю художественную школу. И когда мы свернули в Лаврушинский переулок, отец мне показал Третьяковскую галерею. Я смотрю – стоит какой-то дворец со стеклянным верхом, прямо терем с Георгием Победоносцем на фронтоне. Это всё было так необычно, что оставалось только как бы думать... ну, столица есть столица, всё так и должно быть, как в столице. Должны быть такие дома, должны быть разной архитектуры здания, должны быть каменные заборы с решётками. Всё казалось настолько естественным и уютным в Москве в 51 году, что я её воспринимал как что-то знакомое и родное. Просто я жил там, в Омске, а это всё находилось здесь, в Москве.



Москва 50-х

Напротив Третьяковской галереи, чуть ли не калитка в калитку, стояло четырёхэтажное здание. Это была Московская средняя художественная школа. Мы с отцом туда пришли, зашли в вестибюль. В вестибюле нас встретило огромное чучело бурого медведя, он стоял на задних лапах и держал в руках тарелочку. Это был, видимо, подарок школе от каких-то таёжников. На каждом этаже в проёмах между окон на подиумах стояли копии с греческих скульптур во весь рост. Коридоры школы представляли собой сквозные проходы с одного края школы до другого. Одна стена коридора из-за огромных окон казалась почти стеклянной, напротив располагались двери в классы. Между дверями на стенах устраивались постоянные выставки работ учеников.

Я, в общем-то, ничего там и не говорил и никого не видел. Отец всё ходил, узнавал, как дошли рисунки почтой, как их восприняли. Рисунки в альбоме, конечно, дошли, альбом рассматривали на педсовете школы и были очень удивлены качеством рисунков. Некоторые засомневались, что это мог нарисовать мальчик, и подумали – если отец у него там председатель Союза художников, если мальчик живёт в среде художников, то, конечно, ему и нарисовать помогли. Другие предлагали – давайте примем его без экзаменов (настолько понравились рисунки). И голоса разделились... а вдруг это не он нарисовал, давайте всё-таки сделаем экзамен. (Вот такое вынесли решение и сказали отцу.) И буквально тут дня через три начались экзамены.

Жили мы это время у родственников отца с Алтайского края, из села Зимино. Я их просто стал называть дедушка, бабушка и тётя Нюра, хотя на самом деле они мне не приходились дедушкой и бабушкой. Дедушка Фатин был родной брат рано умершей матери моего отца (моей настоящей бабушки), а тётя Нюра приходилась старшей сестрой моей настоящей бабушки.

Дедушка приехал в Москву ещё в 20-х годах, здесь он стал учиться на медика. Потом привёз сюда с Алтая из своей деревни Зимино Ольгу Павловну, свою будущую жену, и свою сестру Нюру. И так вот они жили на Смоленском бульваре, 13, на Садовом кольце, у них там

находилась квартира (потом я расскажу о них подробнее). Факт тот, что мы остановились у них, в общем, всё это было как-то в центре, как будто само собой разумеющееся – раз мы приехали в Москву, значит, тут у нас есть и родственники, и они нас принимают, и они нам рады, и они нам готовы помочь.

Я только помню, что уже через несколько дней я оказался в акварельном классе этой художественной школы. Я, конечно, никогда не работал в коллективе, в Омске я всегда рисовал один, и даже с матерью, с отцом мы почти никогда не рисовали вместе. В общем, я развивался один, как какая-то дикая трава. Куда ветер подует, туда и я наклонялся, и обратно, и как бы высоко и вольно держал голову.



Первые шаги в художественной школе. Гена рядом с учителем

А здесь приходилось сразу тесниться. Теснота создавалась такая, что прямо некуда было ни ногу поставить, ни руку. Всем детям, которые держали экзамены, выдали одинаковые деревянные мольберты на ножках, так что можно было и стоя рисовать, и сидя, как хочешь. Рисовали натюрморт, и я тоже вместе со всеми.

Через много лет потом отец вспоминал эти мои первые уроки рисования в Москве. Он говорил: Гена, что с тобой сделалось? Почему ты стал тихий, скромный какой-то, застенчивый в обществе? Ведь когда мы только приехали в Москву, ты другим был – энергичным, уверенным. Какая-то девочка, говорит, тебе загораживала натюрморт, так ты её сразу подвинул и смело поставил свой мольберт, чтобы тебе было удобно рисовать. Я, говорит, тогда даже удивился, поразился, как быстро ты смог адаптироваться в этой московской среде. Что же сейчас с тобой случилось? Почему ты сейчас какой-то забитый стал, какой-то тихий?

Я ему ничего не ответил, потому что откровенности взаимной у нас никогда не существовало, он всегда находился в роли учителя. Он вообще, как говорится, был учителем по жизни. Я уже рассказывал, что он преподавал в сельской школе, хотя сам ещё учился в старших классах. Потом учился в театрально-художественном училище с педагогическим уклоном. Много самостоятельно читал, изучал тайны рисунка, живописи по репродукциям, по книгам, по разным альбомам, которые имелись в библиотеке. Но то, что он узнавал из этих книг, не поддерживалось педагогами, тогда учили формальному, лёгкому рисунку без строгости формы, без строгости содержания и композиции. Поэтому ему приходилось до всего доходить самому, а это как раз лучше всего и запоминается. И он не только сам учился, но и других учил, основываясь на том опыте, который приобрёл.

Отец всю жизнь учил меня рисовать, учил, как себя вести. Учил неназойливо, не менторским тоном, а просто, легко и даже как бы шутя, играя, но всё время учил. Однажды ещё в Омске я был в его мастерской, и туда пришёл незнакомый мне мальчик, который стал показывать отцу свои работы. И отец так внимательно разбирал его работы, так тщательно указывал ему на достоинства и недостатки работ, так необидно делал замечания, что я позавидовал этому мальчику. Я даже подумал – сколько же внимания он уделяет этому чужому мальчику, в то время как меня он как бы забыл и уже не учит. (А этот мальчик в дальнейшем стал серьёзным художником и сменил отца на посту председателя омского Союза художников, когда отец переехал из Омска в Красноярск.)



Утренний улов

Когда отец уехал в Красноярск и стал там преподавать на графическом факультете педагогического института, я однажды пришёл посмотреть, как он преподаёт. Тогда его студенты, юноши и девушки, резали гравюры. И отец настолько ко всем ласково относился, как будто это были его дети. Он говорил: ну, миленькая моя, хорошенькая (к какой-то девочке обращался), у тебя же получается, смотри, хорошо уже, вот только сделай ещё немножко здесь, не бросай, делай так дальше.

В общем, такими ласковыми обращениями он создавал атмосферу доброты, уважения к труду, и его кафедра считалась самой успешной в институте. И так он преподавал, пока тяжело не заболел (перед смертью). И когда он уже не смог ходить на работу, он остался там почётным преподавателем.

Так что для меня отец тоже был первым учителем. Я приехал в Москву хорошо подготовленным, мастером акварели, хотя мне и было всего-то 13 лет. Я помню, ещё в Омске я как-то утром встал, пошёл на речку и наловил там маленьких рыбёшек. Они назывались пескарёв, маленький чебак, ёршик. И я им за жабры просунул палочку, принёс домой, повесил на гвоздик и лёг спать. Потом просыпаюсь, отец спрашивает: ну что, наловил рыбок? – Я отвечаю: наловил. – А что ты с ними будешь делать? – Я говорю: а что с ними сделаешь, они и маленькие, и мало их, зажарить нельзя, потому что сгорят. – Отец говорит: тогда нарисуй их.

Я подумал... да, действительно, остаётся только их нарисовать. Я взял акварель, бумагу и стал рисовать, а он сел рядом. Я рисую, он смотрит. Потом говорит: ты знаешь, я вот наблюдаю, как ты рисуешь, и как будто это я рисую. Я, говорит, вот сейчас бы сделал тень в этом углу. И смотрю, говорит, ты берёшь краску, разводишь её, смешиваешь с другими и прокладываешь тень именно в этом углу. Потом, говорит, я бы поточнее нарисовал жабры, ротик рыбкам, глазки, плавники. И смотрю, говорит, ты молча делаешь именно это на своём рисунке. Это удивительно, говорит, но ты делаешь так, как будто это делаю я.

Однажды я делал акварель в сарайчике, отец подошёл и спрашивает: как ты рисуешь стену? – Я показываю: ну, вот так... – Он говорит: нет, неправильно. Вот когда рыбку ты рисуешь, это у тебя рыбка. А стену ты просто красишь. Нет, ты сделай стену такой, какая она есть. Если она побелённая, ты води кисточкой так, чтобы вода затекала. Краска сама будет течь, но ты её так подправляй, чтобы она шла по форме тех трещинок или выпуклостей, которые есть на стене. Потом и в другом месте так сделаешь. То есть ты рисуй конкретную стену. Ты не рисуй просто тёмное и светлое, а рисуй именно эту стену своего сарайчика, где ты спишь (я летом спал в сарайчике).

Вот видишь, говорит, здесь облупилась извёстка? Уже нужно другую краску взять и нарисовать, что стена облупилась. А вот тут, видишь, гвозди торчали раньше, дырочки остались, так ты тоже их рисуй, эти дырочки, чтобы у тебя получилась стена именно этого конкретного сарая. Если ткани будешь рисовать, складки внимательно рисуй, не торопись. Никогда не торопись, потому что лучше сделать одну работу, но сделать её как следует, чем за это же время сделать пять, или десять работ, но которые потом выбросишь.

И действительно, когда я приехал в Москву в художественную школу, я все эти уроки отца хорошо усвоил. Нам поставили рисовать акварелью какую-то банку, покрытую глазурью, она была частично коричневая, частично какая-то зелёная, частично чёрная. И я так легко сделал акварель, будто бы я уже всё знал. По композиции я нарисовал детей на Иртыше, как они ловят рыбу (это по моим сибирским впечатлениям). В общем, я сдал экзамен, и меня приняли в школу.

Приняли меня сразу в третий класс. Дело в том, что школа имела семь специальных классов, которые соответствовали полному образованию в общей средней школе. Так что я проучился в художественной школе пять лет – третий, четвёртый, пятый, шестой и седьмой класс. Отец меня устроил в интернат, мне там дали кровать в углу около окошка, которое смотрело прямо на Третьяковскую галерею, на крышу и на вход. Дети из провинций ещё не приехали, и я там устраивался чуть ли не первый. Мне дали тумбочку и место в шкафу, который стоял около дверей напротив окна. Там я мог вешать своё пальто, а также ставить ботинки с галошами. Показали полку в шкафу, куда я мог класть рубашки, кепку и ещё что хотел.

Школа считалась элитной, ещё такие же школы существовали в Ленинграде и в Киеве. Когда отец собирался меня отдавать в художественную школу, то перевесила вот эта москов-

ская, потому что в Киеве национальная школа, а в Ленинграде климат сырой, ветренный и холодный. А у меня были слабые лёгкие.

Действительно, когда мы жили в Омске, я часто кашлял. Вообще-то я не кутался никогда, хотя зимой стояли большие морозы, но в Сибири морозы переносятся легко, как и жара. Омский климат резко континентальный и для организма благоприятный. Там зимой сильные морозы, но воздух сухой и здоровый. А летом жара как бы прожигает всё насквозь, но сырости там нет. Если дожди идут, то они идут редко и недолго. Даже если сильный дождь пройдёт, то потом всё быстро высыхает, потому что почва наполовину песчаная и вода куда-то уходит. Нет туманов, нет затяжных дождей, в общем, для организма хорошо. Но, конечно, надо беречься, нельзя нараспашку ходить, как я.

Я же ещё зимой ухаживал за своими сёстрами. Мне мать говорила: иди, Геночка, покатай их на санках. Я брал санки и к ним привязывал корыто или корзину. Туда сажали мы девочек, укутывали, и я катал их по улицам. Я бежал и тащил за собой на верёвочке эти санки далеко-далеко, потом останавливался, поворачивал их, они у меня чуть ли не по воздуху дугу описывали на санках, и бежал обратно. В общем, когда я бегал, я, видимо, глотал много морозного воздуха и потом кашлял.

Ещё я катался на коньках. А коньки какие у нас? Это не те коньки, которые в Москве на стадионе или в Парке культуры выдают с ботинками. У нас были обыкновенные коньки с верёвками, которые привязывались к валенкам спереди и сзади. И вот крутишь, крутишь эти коньки на задней верёвочке, и когда она закручивалась, привязываешь коньки крепко сзади к валенкам. А переднюю верёвочку накидываешь на носок валенка и палочкой крутишь в одном направлении. И когда верёвка уже сжимала носок валенка, палочку туго закрепляли. Мы с ребятами катились на коньках по Омской улице вниз туда, к понтонному мосту, там был скат. Там и летом-то если лошадь ехала с телегой, то телегу придерживали, чтобы она не раздавила лошадь. Машины там не ездили, потому что очень круто. А на коньках мы по этой Омской улице скатывались на большой скорости, прямо летели на коньках. Иногда по неопытности кто-нибудь падал, но тут же вскакивал. Прокатишься до самого моста понтонного, потом обратно идёшь. Залезешь на гору, опять скатишься и снова возвращаешься. Вот такие игры у нас были, у детей.

На лыжах иногда заезжали уже на (Эмку, с крутых этих обрывистых гор прыгали вниз и летели по сугробам. А на Иртыше где-нибудь уже полынья, или рыбаки рубили проруби, сомов вытаскивали зимой. Иногда прямо до этого места доезжаешь, лыжами чуть ли не в прорубь. Потом останавливаешься, и уже там весёлые крики, смех. Здоровая была обстановка.

Я как-то сильно простудился. И потом я уже себя помню в больнице. Больница из нескольких корпусов за плотным забором находилась на высоком берегу за понтонным мостом. Она называлась лесная школа-интернат, и однажды летом я там жил. Вспоминаю, как ходили мы стройным отрядом в столовую, как нас кормили фасолевым супом, как воспитательницы с нами разучивали песни и как я ждал отца, сидя на заборе. Я смотрел на наш маленький город Омск, на спуск к понтонному мосту и видел подъём на другой стороне, где мы жили на линиях.

Вечер. А я всё сижу на заборе, поджав ноги, и смотрю. И наконец подъезжает на велосипеде отец. Подъезжает, ставит велосипед около забора и начинает со мной разговаривать. Что-нибудь мне принесёт, какую-нибудь конфетку или ещё что. Да я и так очень рад, я и не ждал никакого гостинца, дело не в гостинце было. Просто я ждал его самого, его фигуру, его отцовский запах, его лицо... всё мне было приятно в нём, всё нравилось, в общем, я его любил.

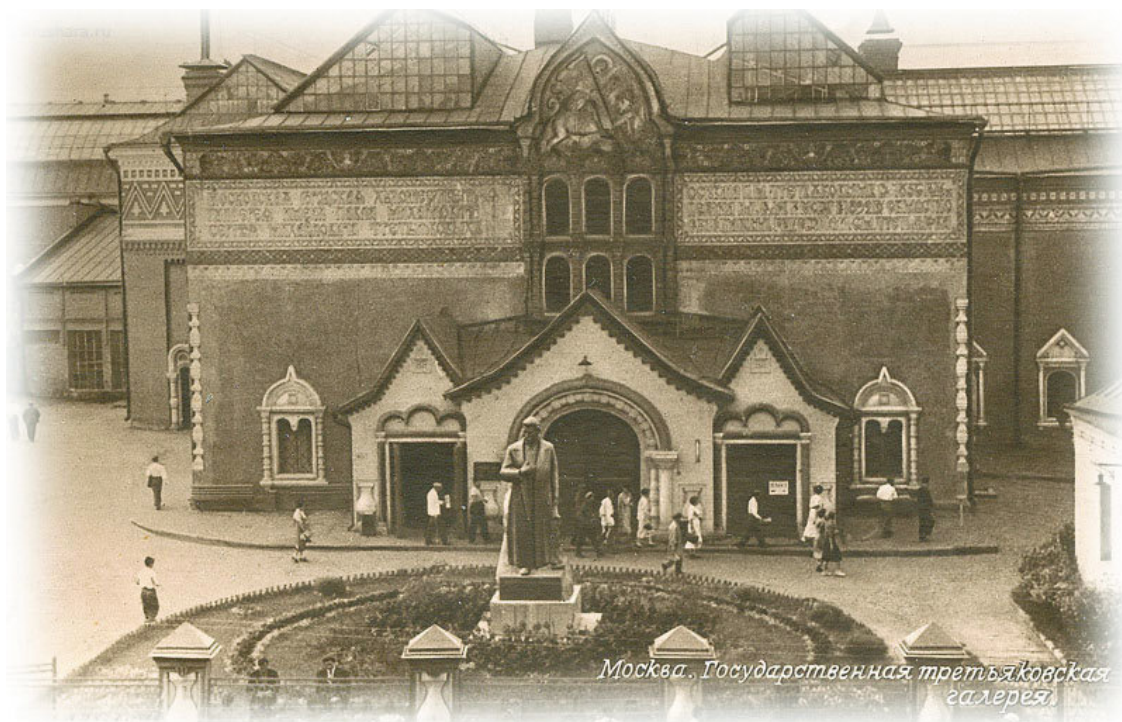


Отец. Рисунок начала 50-х годов

Здесь, когда мы в Москву уже приехали, отец посмотрел, как я устроился в уголке этой большой комнаты (там ещё 14 кроватей стояло, 14 тумбочек ждали своих хозяев, я был первый).

Потом отец договорился, чтобы меня кормили в столовой. Столовая находилась на первом этаже в этом же здании, в правом углу. Там в зале за столиками сидели по четыре человека детей. Был ещё буфет и отделения, где мыли посуду и готовили, там же входили истопники, топили эти плиты. В столовой на стенах висели картины. В общем, всё дышало заботой о детях, о будущих художниках, которые пока что учились в этой школе.

После того как отец всё устроил, заплатил за мою учёбу (но это было 220 или 250 рублей на те ещё, на сталинские деньги)... И тогда он говорит: ладно, Геночка, давай на прощанье сходим в Третьяковку, и я поеду.



Третьяковка 50-х годов

Третьяковка напротив. И вот мы входим, отец показывает своё удостоверение члена Союза художников, ему бесплатно дают билет. Мне тоже бесплатно, я ещё маленький. Заходим в Третьяковку. Он мне говорит: пойдём по моему маршруту, как я обычно хожу. Ты знаешь, когда я ещё учился в училище в Омске, я приезжал в Третьяковку и копировал здесь Серова, «Девушку, освещённую солнцем» и «Девочку с персиками». Я так любил Серова, что считал эти работы какими-то необыкновенными... по своему цвету, по свежести, по своему отношению к жизни, по какой-то доброте к этим людям, которых он рисовал. Это чудо, это шедевры, это одни из лучших работ в Третьяковке. И вот к каждой работе мы подходили, и отец благоговейно, как на иконы, смотрел на эти работы. И стоял перед ними, и смотрел, и отходил, и снова подходил, и справа смотрел, и слева, и потом тихо говорил мне: как же хорошо всё сделано...

Вообще Третьяковка раньше выглядела так – шла широкая лестница, наверху которой стояла скульптура Ленина. Но больше о современности уже не напоминало ничего. На стенах висели картины старых художников. Сначала шли пейзажи, сделанные художниками-академистами в Италии. Потом следовали московские пейзажи Алексеева, но они выглядели ещё очень робко (с точки зрения искусства). Геометрически правильные ряды домов, окон, всё было как бы вычерчено, а живопись служила только чтобы подкрасить очень строгий рисунок. Потом висели хорошие пейзажи Щедрина, который работал в Италии.

Мы поднимались, проходили мимо этих больших пейзажей, мимо фигуры Ленина. И тут было два проёма, один налево, другой направо. Налево – это надо было всю Третьяковку обходить зал за залом и потом уже выходить с правой стороны и спускаться вниз по лестнице. Но отец уже знал расположение Третьяковки и сразу вёл меня к своим любимым художникам, Левитану и Серову, они располагались в одном большом зале. Так что он мог чуть ли не целый день проводить в этом зале, потому что там находились его боги, на которых он молился. У Левитана он знал и любил каждый уголок его картин. Он меня подводил к ним (нежно обняв

меня за плечи), и мы вместе с ним смотрим. Он говорит: ты посмотри, как он берёзу освещает солнцем, как кора написана, сколько там лёгких касаний, нюансов, как он меняет цвет... Каждым прикосновением кисточки он уже делает другой цвет, другую форму, и в результате эти берёзки как живые. А трава как написана, а листики... (всё ему нравилось).

И, действительно, я смотрел его глазами на работы Левитана, и мне тоже казалось, что лучше не может быть, лучше, чем у него, невозможно уже сделать. И какие сюжеты ещё Левитан выбирал. Он приехал в Москву из черты оседлости, учился в училище живописи и ваяния, помощи ниоткуда не получал, знакомых тоже не было, и часто ему приходилось рисовать полуголодным. Это, конечно, выдающийся человек, и необыкновенной была его любовь к искусству. Он умер всего-то в 39 лет, это короткий век для художника. Но сколько же он успел сделать, какие чудные пейзажи создал, с какой он любовью всё это рисовал...

Но мы любовались только картинами, даже о судьбе художников отец мне никогда не рассказывал. Потом мы шли дальше и попадали в зал Поленова. Он подходил к картине «Большая», где изображена зелёная лампа с абажуром и виднеется только рука больной женщины, лежащей в темноте на подушках. На столе какие-то книжки, графин с водой. Это просто волшебство, как всё написано, это освещение лампой. Необыкновенной силы эта картина, она мне очень нравится. И отец каждый раз останавливался перед ней тоже, подолгу смотрел.

Потом шли дальше, в зал Верещагина. И отец говорил: посмотри, как солнце написано, как он мазочек к мазочку выкладывает, какие наряды у этих восточных людей, кафтаны их, сабли, как здорово он писал. Он подводил меня к картине «Смертельно раненый»: вот видишь, человека ранили, он бежит, всё бросил, держится за живот, там у него рана большая... (В общем, как бы мы смотрели на всех картинах ещё на человеческие образы, на судьбы.)

Потом начинался зал Васнецова. Отец подходил к картине «Алёнушка», ему она очень нравилась. Вот, говорит, видишь, как написана вода, как темно тут, страшно. И как эта одинокая беззащитная Алёнушка пришла к омуту, села на камешек и уже готова броситься в воду, так несладко ей живётся, такая грусть в её глазах. (Ну а когда отец смотрел на картину «Три богатыря», то тут уже он просто восхищался всей этой мощью.)

Потом мы переходили в зал Сурикова. И он здесь опять стоял и смотрел «Утро стрелецкой казни», «Меншикова в Берёзове»... Ему очень нравился колорит и как Суриков лепил цветом форму, буквально вдавливая краску в холст. Было полное ощущение или тела, или рогожи, или меха, или свеча там горела, или лежали старинные книги. Отец восхищался: какая высочайшая техника (просто непостижимое что-то для него было). Он мне не объяснял ни историю картины, ни судьбу художника, он просто восторгался живописью.

Потом шли два зала Репина. Они по сравнению с залами Сурикова были светлыми и солнечными. Тут мы разглядывали «Крёстный ход...». Отец очень эту картину любил, он сразу утыкался взглядом в лапти идущего прямо на нас горбуна и говорил: ты посмотри, как лапти написаны, они выложены, как драгоценными камнями, этими серыми, желтоватыми, оранжевыми мазочками. Никакой мази, никаких переделок, всё так приятно, светло, гармонично.

В общем, мы много раз ходили по Третьяковке, смотрели на одни и те же картины. И каждый раз он восхищался. Надо сказать, что когда мы опускались в зал ниже этажом, в зал Врубеля, и там рядом висели иконы, то он как-то меньше на них смотрел. Гениальный Рублёв XV века был для него, по-моему, непостижим. Он его просто не воспринимал, потому что он был коммунист, и его учили, что религия – это опиум для народа, она не нужна. Раз не нужна религия, то не нужны и церкви, не нужны иконы, ничего не нужно. И он быстро проходил по этим залам и ни на что не смотрел. Ну, висят и висят, он не протестовал, просто не интересовался.

Потом мы переходили в советский раздел, который был на первом этаже. И здесь он говорил: какая разница между вторым этажом, где русское искусство XIX века, и вот этим советским искусством. Тут, говорит, тоже картины висят, тоже портреты, но сделаны они уже

без глубокого внимания, как бы без любви, без уважения к деталям. (В общем, он эту разницу чувствовал очень остро.)

Выходили мы из Третьяковки усталые. Вообще, по Третьяковке тяжело ходить, там ноги устают очень быстро, хочется сесть. Иногда мы заходили в киоск на первом этаже, где продавались репродукции. И он покупал понравившиеся ему репродукции художников, заворачивал, и это уже он вёз в Омск. Он не был патриотом Москвы, из всей Москвы он любил только Третьяковку, туда он ходил и смотрел годами. Все года, пока я учился в художественной школе, он приезжал в Москву по делам, а потом бежал в Третьяковку и проводил там весь остаток дня до самой темноты, до самого закрытия. Долго ходил там усталый и счастливый.

Я только один раз из Омска приехал в Москву вдвоём с отцом. Больше я никогда вдвоём не ездил. Даже проучившись всего один год в школе, я поехал на летние каникулы в Омск самостоятельно, мне было 14 лет. Я как-то не боялся. Я уже знал, что можно позвонить на вокзал и заказать билет, его мне приносили в школу заранее. И я потом собирался и ехал.

В художественной школе каждое лето проводилась практика, и ребята после учёбы должны были два месяца ещё пробыть на практике. Первая практика была на Оке в поленовских местах, туда ездили всем классом. Но я никогда на практике не был. Я всегда ездил домой в Сибирь, меня тянуло в Омск, на Иртыш. Я жил в Москве, но я не мог к ней привыкнуть, не мог. Во-первых, я жил в интернате. Ученики как бы делились на две части, которые мало даже дружили между собой. Большая часть являлись учащимися-москвичами, родители которых состояли или на государственной службе, или были известными людьми. Там у нас недолго училась даже девочка Джугашвили, родственница Сталина. Я помню её, красивую скромную девочку с длинными-длинными косами, чуть ли не до пола. Училась дочка актрисы Ладыниной, дети архитекторов, дети крупных врачей, в общем, дети элиты. Эту школу даже называли – не школа одарённых детей, а школа детей одарённых родителей.



Спящий

Я же принадлежал к другой части учеников этой школы, к детям из провинции, которые жили в интернате. Они и ночевали в школе, и в баню ходили тут по талонам (рядом баня находилась). А некоторым детям из глухих мест даже давали казённую одежду – брюки, рубашки, курточки, ботинки, носки... всё-всё давали им. Мне ничего не давали, потому что у меня был отец, он платил за моё пребывание в школе.

В интернате в комнате рядом со мной стояла кровать мальчика из Уфы Геры Сысолятина, сейчас он уже заслуженный художник России. С другой стороны спал Володя Кутновский, он был сыном главного врача Новосибирска (о нём потом отдельная история). Дальше находилась кровать Полякова, мальчика из Минска, он занимался скульптурой. Ещё дальше была кровать Энгеля Исхакова, уйгура. Это удивительно, как он попал в Москву из такой дали, почти с границы с Китаем, талантливый мальчик, потом он тоже в институте учился.

Одна девочка из Оренбурга, Лариса Даватц, недавно вернулась с родителями из Китая. Варвара Пирогова приехала откуда-то из Сибири. Борис Овчухов раньше жил в какой-то глухой деревне под Ульяновском и тоже оказался в Москве. В общем, на какую кровать ни посмотришь...

И я понял, что проводилась политика такая, планомерная сталинская политика – найти детей и воспитывать их, как говорится, с младых ногтей, чтобы получить из них нужных государству художников. Государство должно было быть уверено в том, что у него есть свои художники, которые будут делать то, что нужно партии. Конечно, в открытую так никто не говорил, это бы звучало грубо.

Учились дети с Байкала, из Улан-Удэ, из Якутии, с Кавказа, из Армении, из Грузии. Потом эти дети должны были дальше учиться в институте. Так что к ним уже присматривались, за ними следили... кто сможет дальше учиться, кто, может быть, оставит это дело. Если даже кто бросал это поприще, претензий никаких не было. Уходил человек, оставались другие, и это, конечно, естественно, потому что люди в 13 лет ещё не осознают своего призвания. Даже в 30 лет могло всё измениться. Но иногда дети чувствовали, что их тянет к чему-то другому, гораздо раньше.

Я говорил уже, что рядом со мной стояла кровать Володи Кутновского из Новосибирска. Володя вдруг появился в нашем классе посреди года после зимних каникул. Я думаю, что по совету каких-то художников отец его привёз и договорился с директором. Володю приняли сразу в четвёртый класс и посадили за парту. Это был необыкновенно талантливый еврейский мальчик. Он так играл в шахматы, что обыгрывал абсолютно всех в интернате.



В интернате. После занятий

Двери наших комнат в интернате выходили в холл, где все встречались и общались. Там тоже стояли большие греческие скульптуры и в больших рамах висели картины учеников, которые учились в старших классах или уже окончили школу. В аквариуме плавали красные, чёрные и жёлтые китайские рыбки с длинными хвостами и плавниками, этот аквариум весь светился, воздух туда подавался через трубочку.

В углу стояло высокое трюмо, рядом с ним телевизор. И тут же находились диваны, застеленные белыми чехлами. В ящиках и кадках росло много цветов – и большие фикусы, и розы. Ребята выходили из комнат и в холле рисовали. Я обычно встану возле окошка, положу акварель на подоконник и рисую в блокнот заснеженную Москву. Недалеко от школы стоял храм с колокольной, доносился колокольный звон. Вообще этот район являлся Замоскворечьем, когда-то здесь были болотистые места, даже площадь называлась Болотная. Потом болота осушили, провели канал, насадили деревья. Эти речки, Яуза и Обводной канал, текли в гранитных берегах, имели каменные мосты, но они были мелкие. Иногда по ним проплывали байдарки, и гребцы задевали за траву вёслами, в то же время по Москве-реке около Кремля, который стоял на горке, ходили пароходы.

Они и сейчас ходят – пассажирские пароходы и прогулочные катера.



Комната отдыха. Гена – крайний справа

Дети есть дети. Иногда по вечерам или в дни каникул, когда не было учителей, собирались несколько отчаянных ребят, и кто-нибудь говорил – давайте из окна залезем на пожарную лестницу и заберёмся на крышу, посмотрим оттуда. (Ну, сказано – сделано.) Открывали окно, руки у всех были крепкие, цепкие. Мы не занимались спортом, но благодаря юности всё нам давалось легко. Мы лезли по слегка шатающейся лестнице и забирались на самую крышу, а там, конечно, никакой ни ограды, ничего не было, так вот балансировали.

Панорама, конечно, с этой высоты открывалась волшебная. Смотрели на кремлёвский холм со зданиями и с колокольнями, даже храм Василия Блаженного виднелся вдали. Всё это было освещено или заходящим солнцем, или огнями, если мы лазили ночью. Вот эти вылазки на крышу стали очень романтичными. Мы лазили первыми, не шумели, и нам как бы всё это сходило с рук. Потихоньку залезем, посидим там, посмотрим на звёздное небо, на огни города, полюбуемся, пофилософствуем. И потом спускаемся аккуратненько вниз, открываем окно и переходим в здание.

А в интернате дети разных возрастов жили все вместе – и кто в выпускном классе учился, и кто только был принят. И, конечно, кто помладше, они тоже стали лазить на крышу. А когда младшие начали лазить, то кто-то там или упал, или просто шумел, гремел, бегал по крыше так, что привлёк внимание жильцов из других домов. И те пожаловались.

Глава 9

09 января 2006 г.

Вечером на крыше МСХШ. Жизнь в интернате. Ночное рисование. Занятия в классах. Учителя. Художники-гости. Олег Целков. Сундарев. Ваня Свитич. Володя Кутновский. Свидание в психбольнице в Новосибирске.

В общем, нашим ночным походам на крышу был положен административный конец. Но я помню, как в эти романтические ночные вылазки было интересно наблюдать за ребятами. Стояли мы как-то там на крыше, я смотрю на эти огни Москвы и просто так говорю как бы в пространство: сколько огней, они разбросаны, как драгоценные камни. – А один парнишка по фамилии Чесноков вдруг мне отвечает: вот ты и рисуй так, как говоришь, как будто это драгоценные камни. (Тут, конечно, можно задуматься, потому что дети – хотя они и юные, но мысли у них смелые и серьёзные.) Рисовать огни, как драгоценные камни, мог сказать только Врубель, который так и рисовал. Большинство же художников просто возьмут кисточкой жёлтую краску, коснутся несколько раз, и всё. А огни ведь совсем другое дело, они действительно разные – то оранжевые, то красные, то зелёные, то какие-то седенькие. В общем, много всяких огоньков в Москве, и все они светятся и создают драгоценное ожерелье.

Я такие ожерелья видел уже в зрелые годы, когда летал на самолётах. Вот ночью мы летели в Магадан, и я вижу, будто на тёмной поверхности земли разбросаны алмазы. Там не видно ни города, ни улиц, ничего, а просто огоньки. И вот эти огоньки с большой высоты переливаются, как драгоценности, будто ожерелье какой-то женщины-великанши туда бросили, и оно сверкает в темноте. Вот что значит ночные огни, это совершеннейшее чудо.

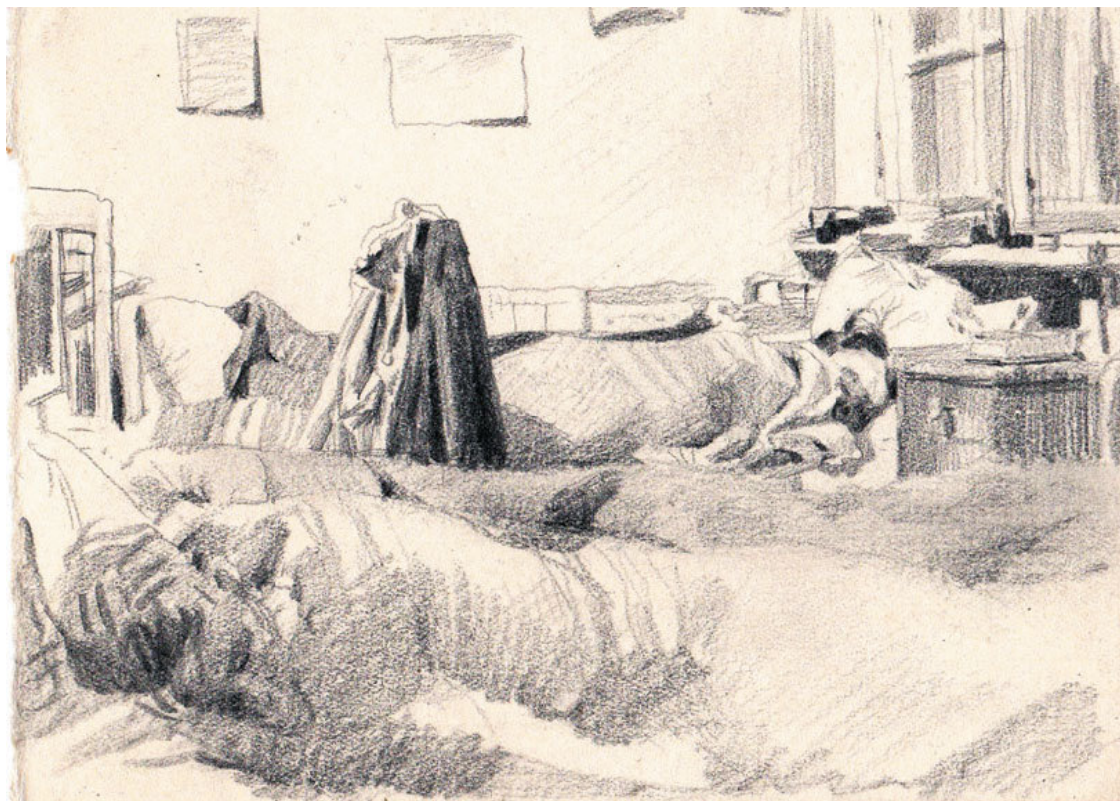
Жизнь в интернате протекала как-то по-особому, там совершенно не замечалось время и никогда не приходилось скучать. Место наше ограничивалось коридором и холлом, где всегда было интересно, потому что собралось отовсюду много совершенно разных детей. Борис Овчухов, например, выходил в коридор, ставил зеркало (небольшой осколок у него был) и рисовал свой автопортрет в зеркало. И он мог это делать целый день. Я рисовал, как играют в шахматы или уроками занимаются. А один парнишка всё время зарядку делал – выйдет в одних трусиках и начинает изгибаться в разных упражнениях.

В холле стоял телевизор и имелась радиола, вечером там заводили пластинки, «Рио-Риту» вот я помню. У нас уже образовывались влюблённые пары. В интернате жили две родные сестры из Подмосковья, Левшуновы, и учились два высоких парня, Каракашев Вилен с Кавказа, и Солдатов, кажется, из Подмосковья. И вот они между собой уже дружили, таинственно шептались, уединялись. (Потом в институте они женились на этих двух сёстрах.)



После уроков

У нас был воспитатель Арам Акимович, армянин. Но всё его воспитание сводилось к тому, что он целый день играл в шахматы с Володией Кутновским, а вечером проверял, чтобы гасили свет в комнатах. Потом он гасил свет в коридоре и там на диване ложился спать. А у меня уже тогда была бессонница. Я почему-то не мог сразу уснуть, всё думал о Сибири, о доме, о матери и вот так лежал. И чувствую, что в комнате уже все спят, тихо стало. И тут я вспоминал завет отца, он говорил – если тебе плохо, бери и рисуй. И неприятности забудешь, и всё в норму придёт, и настроение выровняется.



Ночной рисунок

И я включал свет, все лампы, так что удивительно даже, как дети не просыпались от такого яркого света. Потом брал блокнот и рисовал, сидя на кровати. Я рисовал Кутновского, он лежал на спине, спал в очках. Ещё рисовал спящего Геру Сысолятина, который одну ногу спускал до самого пола и как-то вытягивал вверх руку. Других детей рисовал. И когда я рисунок сделаю, почувствую, что он готов, тогда я гасил свет, ложился и засыпал уже как бы с чувством выполненного долга. Вообще сделать рисунок – это для меня означало успокоиться и почувствовать себя наравне со всеми. Я знал, что учусь хуже других ребят, особенно по математике, по алгебре, по геометрии, по физике, по химии. Я отставал, и мне было неудобно. Но в то же время если я начинал рисовать, то это чувство куда-то уходило, и я опять как бы приобретал необходимое чувство собственного достоинства. Я успокаивался и уже засыпал.

Все мы были ещё дети, приехали из разных отдалённых мест. Иногда я ложился спать, свет уже погасили, всё тихо. Напротив, со стороны Третьяковки, огромная луна заглядывает к нам в окно, полнолуние. На стенах от переплётов окон появляются продолговатые косые тени, и комната как бы наполняется лунным светом. Я лежу, но ещё не сплю, и вдруг слышу под одеялами укрывшихся с головой детей какие-то всхлипывания, будто кто-то плачет. Потом

слышу и в другом месте такие же всхлипывания, они как бы возникают и затихают. И я понял, что это плачут дети. Плачут о своей малой родине, которую они оставили, о родных.

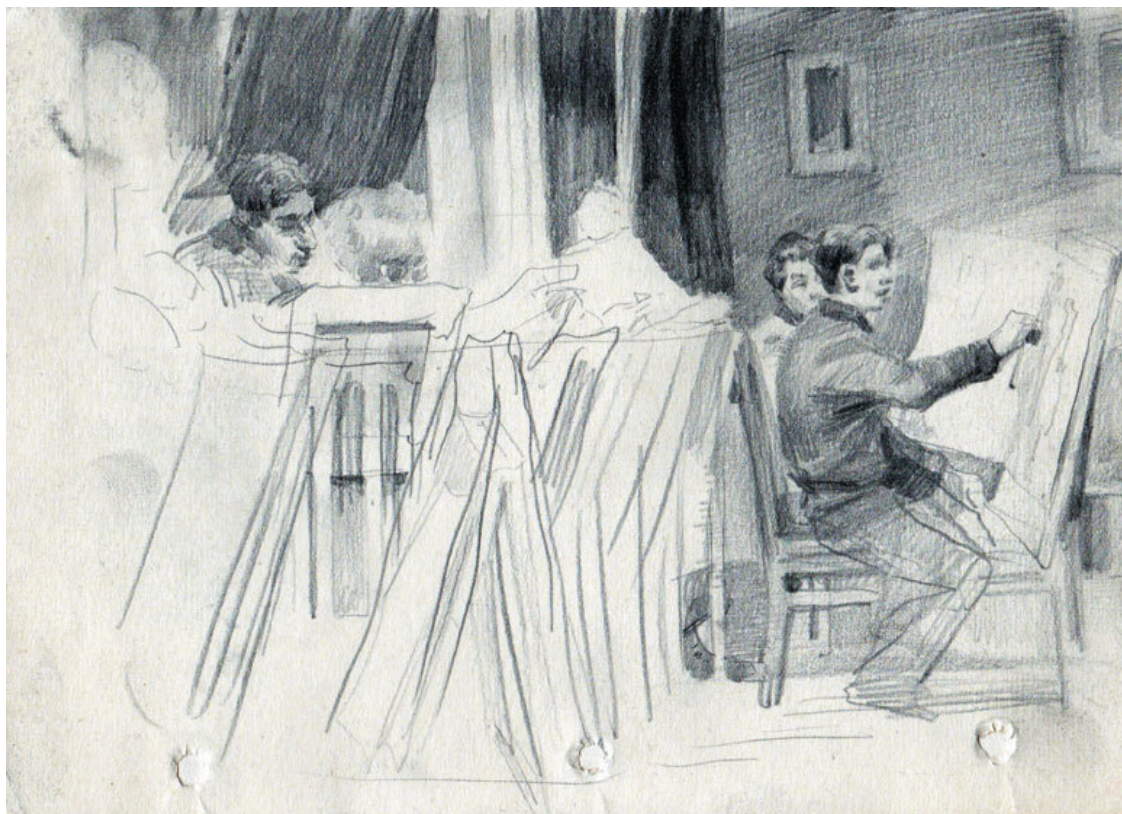
Я и себя поймал на этом же занятии, что и я так вот укроюсь, калачиком свернусь и лежу на кровати. Потом начинаю Омск вспоминать, мать свою. Вспоминаю, как мы жили во время войны в тяжёлых условиях, какие у нас были маленькие неприспособленные комнаты, сколько мы переезжали с места на место. Вспомню, как я когда-то спал, тихо прижавшись к матери сбоку, как мне было с ней хорошо и какое тепло шло от неё. Мы никогда не барахтались, не играли, как другие матери со своими детьми, мы просто затихали.

Вспоминаю, как мы с ней жили в Ворошилове (в Уссурийске). И вдруг замечаю, что слёзы у меня текут прямо на подушку, и я потихонечку засыпал. А ночью я чувствую, что холодно, ёжусь под своим одеяльцем тоненьким, рядом ведь огромное окно с тремя фрамугами. И вдруг вижу, что встаёт сосед мой Володя Кутновский, берёт своё одеяло и укрывает меня. Все спят, никто этого не видит, он думает, что и я сплю. И вот он меня укрывает, мне становится тепло, и я засыпаю уже до самого утра. А утром я просыпаюсь, поворачиваюсь, смотрю – Володя лежит под одной простынёю. Я его спрашиваю: зачем ты это сделал? – А он отвечает: да мне не холодно.

Вот такой это был парнишка, так он поступал, и я это помню всю жизнь. Надо сказать, что все ребята у нас выделялись талантами, но Володя особенно, он даже никогда уроки не делал. У нас существовал режим. Утром в интернате громко звенел звонок, все вскакивали и бодро бежали в туалет, там же рядом находился умывальник. Умывались с мылом, чистили зубы и уже одетые все устремлялись в столовую, потому что времени от звонка до звонка было мало, а второй звонок звал уже в столовую на первый этаж. Каждый там имел место за своим столом (ну, как сели первый раз, так несколько лет и сидели). Я тоже сидел на одном и том же месте.

И вот начинался завтрак, он был всегда очень вкусным. На завтрак обычно давали толстый пудинг из манной каши и творожную запеканку, залитую сверху яйцом (или просто омлет из яиц). А сверху это покрывали фруктами из компота (грушами, яблоками и сливами) и обильно поливали густым сиропом, так что его можно было хлебать маленькой ложечкой. Ещё давали булку с большим куском масла, который мы размазывали по булке, горячий кофе или горячий компот. В общем, завтрак получался очень сытный и лёгкий. И мы бежали уже заниматься.

Первые уроки были специальные. Сначала шла живопись, потому что считалось, что в эти ранние часы, пока человек не устал, у него хорошее зрение. Нам сначала ставили натюрморты, потом эти постановки усложнялись, позировали натурщики в одежде. А в последнем классе все эти одежды убирались, и человек уже стоял обнажённый, чтобы мы видели, как ноги соединяются с тазом, как устроены другие части тела. Таким образом, с утра мы занимались четыре часа живописью (по 45 минут, 15 минут перерыв).



В классе рисунка

Потом был небольшой перерыв, и мы переходили в класс рисунка. Иногда наоборот, сначала шёл рисунок, а потом живопись, они чередовались. В классе рисунка стояли гипсовые постановки. На больших листах бумаги, наклеенных на планшет, мы рисовали какую-нибудь освещённую лампой старинную вазу. На самой вазе находились рельефы фигур с лопатами, они что-то там закапывали или строили. Ставили греческие вазы с узорами, надо было нарисовать эту большую вазу, сделать её объём, передать белый цвет и то, что она очень тонкая, изобразить все детали. И вот мы этим занимались.

Надо сказать, что дети, которые учились в школе, собрались из совершенно разных семей. Некоторые приходили из семей прославленных художников, у них подготовка была лучше. Кое-кто имел отцов-архитекторов. Я помню мальчика Лопато, сына архитектора, он приносил из дома чудесные рисунки с изображением каких-то тканей со складками, которые были брошены на старинные кресла на закрученных ножках и с ручками-львами. Ткани эти свисали до самого пола. И вот он дома оттачивал эти рисунки. А я всё думал, как же это он так делает, что нет даже никакой маленькой помарочки на бумаге?

А потом смотрю... он и здесь, в школе, так же делает. Бумагу он смачивал (но это мы все так делали) и заворачивал её края корытцем таким, чтоб вода не стекала. И когда вода промачивала бумагу, он эту воду выливал, а края бумаги загибал и наклеивал клеем к доске. Потом бумага высыхала и натягивалась, прямо звенела, если её тронешь, и, конечно, была абсолютно ровная, нигде не загибалась, не торчала. Потом он ещё бумагу сверху закрывал калькой и укреплял её кнопками с одной стороны. Когда рисовал, он её отгибал. А когда заканчивал, он калькой опять закрывал рисунок, чтобы рисунок не портился.

На пальце у него торчал длинный ноготь. И чтобы не засалить бумагу, он упирался в неё ногтем, а рука двигалась вместе с карандашом. Так он тушевал фон, потому что в рисунке оставалось место для фона, и этот фон тоже надо было нарисовать аккуратно, чтобы не было пома-

рок. И вот Лопато этим отличался, он исключительно чисто относился к рисованию. Потом я его работ на выставках не видел, думаю, что он стал архитектором, как и его отец.

Вообще все рисовали по-разному, ещё это от преподавателя зависело, кто как учил. У нас одно время был преподаватель Бабицын, художник с огромными руками, который прошёл войну и был уже немного нервный. Он, конечно, такое тушевание не признавал. Если он нам что-то показывал, то говорил: я вот тут намечаю шаль, а пуговицы уж вы сами будете отделывать. (То есть он даже не хотел пуговицы рисовать, потому что считал, что это мелочи, которые недостойны внимания творческого человека.)

Вот такие оригинальные были преподаватели.



Школьная вахтёрша

Потом у нас был преподаватель Молчанов. Однажды, когда я уже стал немножко постарше, я его спрашиваю: Константин Михайлович, можно я приду к вам в мастерскую, мне интересно посмотреть, как вы работаете. – Он говорит: приходи.

И вот я пришёл на Масловку в его мастерскую. А он как-то так жил, что и квартира его, и мастерская рядом находились. И я сначала прошёл мимо жилых комнат, а потом оказался в его мастерской, продолговатой комнате, завешенной рисунками. И он говорит: Гена, ты хорошо рисуешь, я тоже всю жизнь рисую и всю жизнь преподаю в художественной школе. Мне так нравится преподавать, так мне нравятся дети, что я готов прямо танцевать с ними на праздниках. Но, говорит, теперь я решил написать картину, и у меня не получается тут женская фигура. Надо бы, чтоб кто-то мне попозировал, но платить денег нет. А так никого не допросишься. (И тут входит его жена.) – Я спрашиваю: а ваша жена разве не может вам попозировать? – Он так тяжело вздохнул и говорит: да когда мы познакомились с ней, она с удовольствием мне позировала, а теперь ей некогда, ей всё время некогда, и она вообще отказалась мне позировать.

Я так удивился и подумал: что же это за жена, которая отказывается позировать мужу. Ведь позировали же жёны Рембрандту, Тициан рисовал дочерей, это первые близкие люди, которые помогают художнику. А если они не помогают, если художник даже страдает оттого, что они не помогают, зачем же они тогда нужны? (Так я подумал.) И это вот первая мысль у меня была, которая легла в основу моего отношения к женщине как к помощнице художника. Я уже понимал, что художник не может работать один, ему нужны помощники. А если женщина отказывается быть помощницей, если она живёт сама по себе, рождает детей, воспитывает их, кормит, а художник живёт сам по себе, то получается, что они не связаны. У неё свои интересы, у него свои. Зачем же тогда они вместе живут? Жить нужно для того, чтоб помогать друг другу. (Такие у меня были мысли после посещения мастерской Молчанова на Масловке.)

Вообще, художественная школа пользовалась огромным вниманием государства. Там преподавали не только лучшие педагоги, но и устраивали встречи с другими художниками, которые рассказывали о своей работе. Вот, помню, в интернат к нам приходил художник Чуйков, его картины висели в Третьяковской галерее. У него в нашей школе учился сын Иван, и он, как родитель, видимо, считал своим долгом как-то помогать школе. Когда он приходил, то тут дети, конечно, тащили стулья и садились вокруг. А рассказывал он о том, как ездил в Индию и рисовал там бедных неприкасаемых людей, с которыми все боялись даже здороваться, чтобы не заразиться. Это в Индии шло ещё с доисторических времён. И много раз правительство выступало против этого обычая, хотело признать неприкасаемых полноценными людьми, дать им права лечиться в больницах, учиться в школах. Но обычаи оказывались прочнее, и через какое-то время опять эти неприкасаемые оказывались в прежнем положении людей низшей касты.

И вот Чуйков стал рисовать неприкасаемых. Он сделал чудесные этюды голов этих людей, и мужчин, и женщин. Помню, там один индус играет на флейте, а женщина положила голову ему на плечо, и они смотрят грустными глазами. (Эти работы в Третьяковке висят.) И Чуйков рассказывал: Индия очень богатая страна, там много всего продаётся, разных тканей, вещей, всё это дёшево. Я, говорит, хотел купить жене сари, а потом подумал... ну, вот я привезу это сари в Москву, отдам своей жене. А она у меня простая, деревенская, и куда она это сари оденет? И на кого она будет похожа? И так, говорит, я постоял, посмеялся и не стал покупать, ничего ей не привёз. Но она меня и так любит, и радовалась, что я хоть живой оттуда вернулся. (Тогда ещё поездки за границу были редкостью.)

Потом другой художник приходил, академик Фёдор Решетников, у нас училась его дочка Люба. У него две знаменитые картины висели в Третьяковке – «Опять двойка» (где мальчик пришёл и собачка ему на грудь кидается) и «Прибыл на каникулы» (к деду на каникулы приехал суворовец и отдаёт деду честь). И Решетников говорил: чтобы стать известным художником, недостаточно просто рисовать, этого мало. Нужно ещё какой-то гражданский поступок совершить, после которого бы о вас узнала вся страна (это он говорил нам в интернате, сидя у окна, а мы все собрались и его слушали). Он учил: надо жить интересами нашего государства, как бы дышать воздухом тех событий, которые происходят, вы не должны оставаться в стороне.

Вот у меня есть серия рисунков о челюскинцах (это он говорит). Её ведь сидя в Москве не сделаешь. Я решил поехать на Северный полюс к этим челюскинцам. Но, конечно, меня и не пускали, и денег у меня не было, и вообще я был ещё молодой парень. Я пытался сначала уехать официально, но никто меня не брал. И тогда я схитрил. Пока этот «Челюскин» загружался перед отходом на Северный полюс, я проник на корабль, залез в багажный трюм и там спрятался. И долго сидел, пока корабль загружали продуктами, оборудованием. А когда уже мы отплыли, вышли далеко в море, то меня там обнаружили моряки и привели к капитану. Тот хотел меня отправить обратно, а я ему говорю – я художник, я хочу рисовать ваши подвиги, когда вы будете там исследовать Арктику, я хочу быть вместе с вами. (Ну, и тогда этот капитан смягчился, велел его накормить, поставить на довольствие и дать каюту.)



На встрече со знаменитостью

И вот таким образом он оказался на этом корабле вместе с челюскинцами. Потом, когда они попали уже на Северный полюс, вдруг этот корабль так сдавили льды, что он треснул и начал тонуть. И тогда все стали спасать научное оборудование, продукты, палатки, всё-всё, что успевали. Корабль тонул прямо на глазах, но медленно, так что очень многое успели спасти. И Фёдор Решетников тоже вместе со всеми таскал, спасал, вылавливал из воды бочки, всё грузили на лёд. Одновременно он рисовал. Дело кончилось тем, что это огромное научное судно пошло ко дну, а они оказались в полярной темноте на льдине. Тогда они послали радиogramму, и вся страна следила и переживала за судьбу этих челюскинцев. Туда, на Северный полюс, были посланы корабли и самолёты, чтобы их найти и спасти.

Решетников там целыми днями работал и рисовал. И когда они вернулись в Москву, он эти рисунки тут показал, опубликовал и сразу стал знаменитым художником. Потом ещё он написал картины, и его приняли в Академию художеств. И нам он говорил: вот, ребята, если вы тоже будете жить активно, не пропёте свой талант, не прогуляете его, а будете рисовать и своими рисунками приносить пользу государству, тогда вас оценят.

Конечно, вот такие встречи и беседы оставляли глубокий след в сердцах маленьких художников, они формировали души ребят и повышали моральную планку их будущей работы.

Ребята учились очень старательно. Среди наших классов «А» и «Б» (мы так и шли – третий класс «А» и «Б», четвёртый, пятый, шестой, седьмой, выпускной) почти половина ребят получили золотые медали. Многие другие окончили с серебряными медалями. Родители, конечно, со своей стороны помогали, но делали это, надо сказать, тайно и очень умело. Так что никто в классе не знал, что, например, ребёнок, который отвечал урок, накануне перед этим дома занимался с этим же учителем, то есть за плату учитель проводил с этим ребёнком дополнительные занятия. Прорабатывали они какой-нибудь параграф, или какую-нибудь задачу, или теорему. А на другой день учитель как бы невзначай спрашивал: кто ответит на этот вопрос? – И тогда этот мальчик подымал руку и говорил: можно мне? (Он проходил к доске, бойко отвечал и, таким образом, ходил в отличниках.) А у интернатских ребят не было возможностей нанимать учителей, да и не все уж так прилежно готовили уроки. Бывало, что ребята играли в футбол целый вечер во дворе, или в волейбол в спортзале.

После рисунка и живописи был перерыв на обед, а потом начинались общеобразовательные уроки – русский язык, литература, математика, физика, химия, физкультура. В физкультурном зале мы бегали, прыгали через коня, подтягивались на брусках и на кольцах, по верёвкам лазили – это был огромный спортивный зал. В общем, мы там жили как в каком-то раю под колпаком. То есть государство делало всё, чтобы мы не видели реальную жизнь, которая окружала школу. Вот, например, с одной стороны нашей школы находился народный суд, где разбирались уголовные дела и всякие другие. Но никто никогда не ходил в этот суд. Видели, что там расположен суд, но воспитание подсказывало, что это было что-то такое нехорошее.

Достоевского в школе тогда не проходили, потому что жизнь обратной стороны медали не входила в программу школы. Москвичи у себя дома имели гораздо больше возможностей услышать разные мнения и суждения, чем интернатские ребята. Интернатские дети, кроме занятий, ничего больше не видели. А московские ребята были более начитанные, развитые и даже в политике имели свои мнения. Я помню, в школе учился Олег Целков, он был москвич. В одной из своих композиций (он назвал её «Песня») он нарисовал палубу парохода, и там люди как бы отдыхали и пели хором песню. Но песню, видимо, пели грустную, и лица у всех были понурые. И сразу же придрались к этой его композиции – почему такие грустные лица? Он что-то ответил, им не понравилось, и, короче говоря, поставили ему двойку. И я не помню, окончил ли он школу или его отчислили.

В дальнейшем этот художник сформировался как диссидент, который презирал русское искусство. И я думаю, что на начальном этапе причиной этому явилось отношение к нему в нашей художественной школе. Он в дальнейшем стал рисовать «целковитов», так он называл идиотов и ужасных дебилов, которых можно увидеть только в каких-нибудь психбольницах для неизлечимых. Такого типа лица он изображал на огромных холстах и продавал их по доллару за сантиметр. Этот Целков эмигрировал во Францию и стал известным художником.

По мере взросления некоторые ребята покидали школу по разным причинам. Когда начинался урок физкультуры, то все там или бегали, или в волейбол играли. А один мальчик, Сундарев, занимался с преподавателем уроками бокса. И преподаватель так его увлёк, что он бросил художественную школу, поступил куда-то в спортивное общество и стал заниматься там боксом. И я слышал, что он участвовал в соревнованиях и даже получал какие-то награды. Может быть, потом он стал тренером. Всего один раз я видел его рисуночек на Кузнецком мосту на какой-то весенней или осенней выставке. Атак он больше как художник о себе не заявлял.

Учились у нас два брата, Володя и Ваня Свитич. Ваня начитался тут в школе раннего Горького и решил, что тоже пойдёт пешком мерить Россию, узнавать жизнь и питаться этой жизнью, в смысле творчества. Он не приехал в школу после каникул (они из Джамбула были, из Казахстана), а пошёл куда-то, ходил где-то, у кого-то останавливался и в конце концов попал в психиатрическую больницу. Больше уже он в школе не учился. Знаю, что он потом устроился на работу, женился и стал членом Союза художников в Целинограде.

Ещё в школе Ваня делал чудесные пейзажи. Я помню, как мы в Коломенское поехали, сидели там на откосе. И он нарисовал акварелью просто изумительный пейзаж, тонкий такой, проникновенный. С этого бугра открывались дальние горизонты, церковь стояла, и он небо, уходящие дали – всё это сделал с прекрасными нежными переливами и оттенками. Замечательный был художник лирического склада.

Володя Кутновский (койка его стояла рядом с моей), конечно, очень выделялся среди ребят. Он любил, слегка покачиваясь, сидеть на стуле, ноги класть на стол, и так читал книгу. Читал, читал и вдруг по ходу чтения книги начинал хохотать. Я спрашиваю: Володь, что ты хохочешь? – Да ты посмотри, что они пишут... «японский командир отдаёт приказ своему солдату... два шага вперёд, опираясь на господин пулемёт». (Володя опять хохочет.) Что за выражение «опираясь на господин пулемёт»? (Он обладал очень острым умом, а в отношении меня был нежным другом.)



Рисование с натуры

Отец иногда приезжал по делам в Москву и приходил ко мне. Он смотрел мои рисунки и всегда одобрял. Ему нравилось, что я рисую в классическом таком реалистическом плане, и что мои рисунки висят на выставках на стенах в школе, и что их забирают в художественные фонды. И он всегда мне говорил, мол, молодец, всё хорошо. Но в чём я тут ходил, в какой одежде – он особого внимания не обращал, потому что и сам он ходил, можно сказать, не шикарно одетый, а что было, в том и ходил. Пальто его выглядело мятым, потрепанным, а ботинки скособочились. И я тут так же ходил, но он не обращал на это внимания. Лишь бы я рисовал, лишь бы у меня тут всё хорошо получалось в искусстве. А в чём я хожу, его даже не особо волновало.

Но Володе присылал деньги из дома отец. И он однажды говорит: Гена, пойдём в ГУМ, купим тебе калоши. – Я удивился:

Володь, зачем мне калоши? Да и самому тебе деньги нужны. – Нет, говорит, пойдём. (И вот мы пошли в ГУМ в обувной отдел.) Он говорит: меряй эти ботинки. (Я померил.) А теперь, говорит, калоши подбирай. (Я калоши подобрал.) Сколько стоит? – он спрашивает у продавца. Продавец говорит цену. Володя идёт, платит, возвращается и говорит мне: одевай и носи.

Это удивительно, как он заботился, чтобы ноги у меня не промокали и не мёрзли. Сам он хотя и жил в домашних условиях, но был сиротой. Мать умерла рано, отец женился на другой женщине, и у них родилась дочка. Это я узнал уже потом, когда Володя вдруг не приехал в школу к началу занятий. Мы все это горячо обсуждали, ждали его, думали, что приедет через неделю, через месяц, но прошло полгода, а он так и не приехал. Потом начались зимние каникулы. И когда я собрался ехать домой в Омск, я отца предупредил, что я хочу проехать сначала в Новосибирск, узнать, где Володя и почему он не вернулся в школу.

Я поехал в Новосибирск. Приехал, разыскал их квартиру, они жили рядом с оперным театром на улице Красный Путь в самом центре города. Прихожу... это огромная квартира, высоченные потолки, много комнат, квартира солидного человека (его отец являлся главным хирургом Новосибирска). Вторая жена отца тоже была врачом. Я спрашиваю: а где Володя? –

Они отвечают: Володя в больнице. – Я говорю: как в больнице? В какой больнице? – Они говорят: около вокзала рядом с железнодорожными путями находится старинная психиатрическая больница, вот там Володя.



Свидание с Володей Кутновским

Я пошёл туда, уже сгустились сумерки. Я нашёл больницу и оказался в небольшой приёмной, куда выходила железная дверь с маленьким круглым окошечком, обитым железом со всех сторон. Я посмотрел в это окошечко через поцарапанную прозрачную пластмассу и увидел, как там ходят больные люди. Кто-то в полосатой пижаме, кто-то просто голый до пояса, кто-то неподвижно стоит, уткнувшись лицом прямо в угол, кто-то поднял руки кверху и не опускает их. Я спрашиваю: Володю можно?

И вот подошёл Володя. Глаза огромные, под глазами какие-то синяки, щетиной оброс, похудел. Я спрашиваю: Володя, в чём дело? – А он говорит: подожди, скоро прогулка будет, мы пойдем на прогулку.

Я подождал. Через некоторое время он выходит в огромных пимах (по-сибирски значит в валенках). Туда заправлены мятые штаны. Конечно, там ни ремня, ничего нет, как-то на пуговичках всё держится. А сверху телогрейка и шапка-ушанка, которая, видно, переходит от одного человека к другому. И вот он вышел и стоит. Я спрашиваю: Володя, в чём дело? Что случилось?

Глава 10

10 января 2006 г.

О встречах с Володиёв Кутновским в Новосибирске. Расставание.

Мы стояли на заснеженном дворе. Володя был очень худой, измождённый, а руки у него покрылись жёлтым налётом от папирос или от бычков, которые, видимо, он постоянно курил. В школе я никогда не замечал, чтобы он курил. Я мог только догадываться, что произошло с ним, видимо, он не нашёл каких-то ласковых слов со своей мачехой. У мачехи уже подросла дочка, и она, наверно, не хотела, чтобы в их семье жил Володя. Поскольку все они там врачи, то, конечно, первое, что приходит в голову врачам, – это поместить человека в больницу.

Володя считался очень независимым парнем в школе. Хотя он никогда никому не грубил, но все чувствовали какое-то его превосходство, он находился как бы на небольшом пьедестале по сравнению с остальными ребятами. Володя был очень начитанный, если его на уроке спрашивали, отвечал всегда с глубоким знанием дела, владел литературной речью. Учился он на отлично, хорошо писал сочинения, легко понимал математику. А я всегда имел возможность списывать, он мне давал свои тетрадки. И, в общем, у него были одни пятёрки, а у меня еле-еле тройки. Но рисовал и писал акварелью я лучше его. Мои работы всегда висели на выставке, а его работ я не видел.

И здесь, во дворе психбольницы, он вдруг говорит: Гена, ты сейчас выйди за ворота и найми такси. А я через забор здесь перелезу и там спущусь. И уедем, я удеру отсюда. (Я посмотрел на забор, через который он хотел перелезть, забор был каменный, вертикальный, метра три высотой). Выше на заборе ещё держалась надстройка из досок и брёвен, а сверху ещё проходила в несколько рядов колючая проволока. Я ему сказал: Володя, это невозможно. Да и чтобы взять машину, нужны деньги, у меня их нет. – Он посмотрел на меня с сожалением и спрашивает: ты по-прежнему много рисуешь? – Я отвечаю: да. – Он говорит: взял бы ты что-нибудь одно и постарался бы отделать, хотя бы одну вещь довести до конца вместо множества сырых работ. (Вообще всё, что он говорил, было всегда как бы продумано и не просто абы что-то сказать.)

Так мы постояли с ним, я сделал набросок с него, потому что блокнотик и карандаш всегда лежали у меня в кармане. И потом (поскольку стояла зима и было холодно) больных стали загонять. И вся их компания в телогрейках, в шапках-ушанках, в огромных не по размеру валенках, все они зашли опять в эту дверь, а я снова прислонился к окошечку. Но сколько бы я ни смотрел, я Володю уже не видел. Потом я попросил опять позвать Володю Кутновского. Его позвали, он немножко постоял с той стороны около этого маленького окошечка в дверях и ушёл. И я ушёл. Я уже понял, что он не вернётся в школу. Потом я поехал в Омск.

Но при первой же возможности я снова рвался его увидеть. Вторая моя поездка в Новосибирск состоялась через год (или через полтора года). Я опять пришёл к ним домой, и вторая жена отца сказала мне, что Володя получил квартиру, живёт сейчас за рекой, за мостом, и дала адрес. Я поехал туда. Пришёл по адресу. Володя находился дома с женой, красивой татарочкой, и у них уже подрастала дочка. Он ходил по комнате, подбрасывал перед собой волейбольный мячик, ловил его на вытянутый вверх палец и крутил его. И так шагал вдоль комнаты туда-обратно. Я понял, что они как бы ссорятся с женой. Она ему говорит: Володя, помой руки, у тебя пальцы чёрные. – А он ей отвечает: а у тебя душа чёрная. (Ну, конечно, спорить или ругаться с ним не имело смысла, он всегда был выше и умнее.)

Потом Володя пошёл меня провожать. Мы дошли до Оби, до моста, и сели на откосе. Уже опустился вечер, и мы смотрели на город, который своими огоньками протянулся далеко-далеко вдоль берега. Я не помню уже, о чём мы с ним говорили, но о чём-то возвышенном. Ещё я его спросил: почему ты не вернулся в школу? – Он говорит: решил пожить самостоятельно,

потому что меня упрекали, что я живу и трачу незаработанные деньги. И я, говорит, поехал в Туркмению, в пески.

Приехал туда, пришёл в геологическую партию и спрашиваю: возьмёте на работу? – Они говорят: возьмём, будешь вертикальный ориентир держать (они наносили на карту месторождения газа или нефти, и надо было им обмерять территорию). И вот, говорит, я держал высокую палку, а они своими теодолитами и треногами издалика мерили расстояние, наносили на планшеты и делали карты. Я, говорит, всё лето у них пробыл, заработал немного денег и вернулся домой. А тут я опять как бы лишний. И решили родители меня женить, женитьба была по знакомству. Женили, купили нам квартиру. (Но, как я понял, он не дорожил особо ни квартирой, ни женой своей, ни дочкой – что легко приходит, то легко и уходит.) Вот это была вторая наша встреча.

А ещё через год я опять поехал к нему. И когда я пришёл в квартиру его отца в центре Новосибирска, то дома была только девочка. Я стоял в прихожей, зазвонил телефон, и эта девочка подбежала к нему. (Ей подружка звонила и говорила, что там что-то продаётся.) И эта девочка говорит подружке в телефон: давай, покупай скорее, куй железо, пока горячо. (В общем, я так посмотрел – девочка была хотя и маленькая, но уже с железной хваткой). Тут пришла мачеха Володи и заявляет: вы нас компрометируете, вы приезжаете, узнаете тут про Володю. – Я говорю: ну и что?

Что в этом особенного? – Мы этого не хотим. Если вы так будете себя вести, мы его упрячем так далеко, что вы его никогда не найдёте. – Я спрашиваю: а где он сейчас? – Я не знаю. Вот он находился в больнице, где вы были в первый раз. – Я говорю: ладно, я больше к вам не приду.



Володя Кутновский (второй слева). Рисунок по памяти

И пошёл опять в эту больницу, где он был раньше. А мне сообщают: его у нас нет. – Я спрашиваю: а где он? – Они отвечают: нам не велели говорить. – Я объясняю: вы знаете, я здесь

ненадолго, приехал всего на несколько часов, я его повидаю и уеду. (Тогда они сказали, что Володю перевели в другую больницу, и дали адрес.)

Я разыскал эту больницу и услышал то же самое: его у нас нет, его перевели от нас куда-то за город, мы точно не знаем. – Я опять стал просить, что я ненадолго, что я только его повидаю, что это мой школьный товарищ, что когда он учился в Москве, мы дружили, он мне много помогал. И в память хорошего отношения ко мне я хочу его навестить, может быть, ему будет приятно, что о нём помнят. – Они говорят: ладно, только никому не говорите. (И рассказали, как доехать и найти эту больницу за городом.)

Я примерно полдня добирался до этой больницы. Наконец увидел эти одноэтажные домики за забором. Пришёл туда. И там тоже сначала говорили – его у нас нет. (Но потом как-то сжалились надо мной: ладно, идите в ту комнату, они там кушают.)

Я зашёл в барак, в огромную комнату с кроватями. Лето, тепло, больные одеты в легкую одежду. И я сразу увидел Володю. Он сидел на кровати в полосатой пижаме, пальцы и ногти у него были совершенно коричневые от табака. Он нисколько не удивился, что я пришёл. Мы посидели сначала в комнате, потом вышли во двор, который был огорожен высоченным забором. Я только смотрел на него, но уже ничего не мог сказать. Просто стояли так и смотрели друг на друга.

Потом какая-то женщина приехала к сыну с сумками. Подозвала его: сыночек, подойди ко мне, вот колбаски я тебе купила на свою пенсию. (И вытащила ему целый круг копчёной колбасы.) Он взял её, посмотрел, потом развернулся и пульнул её за забор куда-то в поле. И говорит: колбаса отравлена.

Я понял, что это больница для хроников, что тут люди надолго, а может быть, и навсегда. Они тут живут, а не просто находятся какое-то время. Так я с невыразимой грустью расстался с Володей. Потом поехал в Омск. Потом в Москву. Володя больше не появлялся, и я его никогда уже не видел.

Глава 11

10 января 2006 г.

Школьная поездка в Ленинград. На лыжах с Эльзой Хохловкиной. Галя Шабанова. Лариса Федотьева. Никита Федосов. Юрий Чернов. Подлог на выставке в Доме пионеров. Оливетти. Корней Чуковский. Переход на масляную живопись. Математика, физика и химия. Школьная библиотека.

У нас состоялась одна интересная поездка в Ленинград на зимних каникулах. Это уже, наверно, было в пятом классе, но присоединились и из других классов тоже, и постарше нас, и помоложе. В общем, поехала в Ленинград группа вместе с преподавателем. Приехали, пришли в Академию художеств. Это старинная академия, где учился ещё Карл Брюллов, Александр Иванов, Репин, Суриков, Серов, Врубель, Васнецов. Учебное заведение имело глубокие традиции, огромную библиотеку и большие залы, всё было создано для воспитания будущих больших мастеров. Но Академия пережила и буйные годы революции.

Мы жили в помещении художественной школы, которая находилась во дворе этой Академии художеств. Там я увидел и узнал много печального и удивительного, например, двор Академии художеств был вымощен мрамором. Мне сказали, что это не простой мрамор, а мрамор разбитых подлинников греческих скульптур. Во время революции настроили молодёжь так, что она возненавидела всё старое искусство. Картины, которые находились в Академии, рвали и резали ножами, и на этих кусках полотна рисовались абстрактные кубики и линии, красные, жёлтые... то есть создавалось, так сказать, революционное искусство.

А скульптуры царское правительство, поколение за поколением, покупало и выпрашивало у Греции, чтобы ученики учились на этих произведениях, эти греческие скульптуры украшали все длиннющие коридоры Академии художеств. Ну и что же? Вот эта революционно настроенная молодёжь поднимала эти огромные скульптуры и выбрасывала их в окна. Скульптуры разбивались, а потом их ещё добивали молотками. То есть так «революционеры» выражали своё отношение к великому старому искусству, романтическому, вдохновенному реалистическому. Этому искусству нет повторов в истории искусств, оно было только в одной стране и в одно время при каком-то удивительном стечении обстоятельств, политики, великих движений ума и озарения талантов...

Перикл, например, правитель Афин, опекал художников, скульпторов, многие были его приятелями. И они создавали величайшие архитектурные произведения, такие как Парфенон. Ставили храмы по всей Греции на уступах скал и украшали эти храмы скульптурами. Саму богиню Афину Фидий сделал высотой несколько метров, она сияла на солнце и служила маяком кораблям. Это искусство было многозначное, многоплановое, оно служило и политическим целям, и вдохновляло на патриотические подвиги, этим скульптурам и молились, как богам на Олимпе. Далеко не все из этих великих произведений сохранились к XX веку.



Заснеженный Ленинград

А здесь так вот поступали с этими скульптурами. Это же позор на века. Но что сделаешь, революция всегда во всех странах уничтожает и людей, и здания, и выдающуюся архитектуру, и скульптуру, рушит всё без разбора. Жить в такие времена ужасно, а видеть, как это всё гибнет, невыносимо...

Ходили мы в основном в Эрмитаж. Для нас, детей со всех концов страны, конечно, было счастьем попасть в Эрмитаж, увидеть подлинники Веласкеса, Рембрандта, Тициана. Все ходили и смотрели, просто разинув рты. Я, например, долго стоял у «Портрета Филиппа IV» Веласкеса и не мог понять, как он сделан. Я не мог найти хотя бы один мазок, хотя бы одно неровное движение кисти... это просто сидел живой человек и с удивлением меня рассматривал. Удивительно, какие художники раньше были.

Конечно, мы там ходили, смотрели, устали, потом уже просто ходили. И одна девочка, Галя Котельникова (её класс был года на два старше нашего), мне говорит: Гена, давай с тобой зайдём в академию в одну аудиторию, я одна стесняюсь. Сейчас там как раз перерыв, я тебе покажу работу одного студента тут, они рисовали натурщика с гитарой.

Мы зашли туда, студентов не было. Стояли работы на мольбертах, на подиуме лежала гитара, натурщик тоже ушёл. И вот Галя подошла к одной работе и говорит: посмотри, как написано, это чудо, как пишет этот парнишка из Нарвы... что-то необыкновенное, какой цвет, какая форма, как он умеет всё это соединить. Это, говорит, какой-то необыкновенный талант, я просто влюбилась в его работу. Ты знаешь, говорит, я никогда никого не полюблю просто так, мне надо сначала влюбиться в работу этого человека, что он делает. И вот я, говорит, влюбилась в работы этого парня. Но я его уже немножко знаю, вот он тут мазки поперёк формы выкладывает, я ему скажу, чтобы он делал их повдоль...

Я, конечно, ничего особенного не заметил в его работе, но я увидел восторг в глазах у самой Гали. Потом мне сказали, что Галя ещё несколько раз ездила в Ленинград (она москвичка была), ещё смотрела на работы этого Алика и на него самого. И всё дело кончилось тем,

что Галя окончила с отличием нашу школу, легко поступила в институт, перевелась в ленинградскую Академию художеств к Алику, и они поженились.

Ночевали мы в Ленинграде в интернате художественной школы. Там в это время тоже были каникулы, дети разъехались, и остались пустые комнаты с кроватями. И как-то ночью мы там разговорились с Володиёй Свитичем, кровати наши рядом стояли. Делились насыщенными впечатлениями дня после Эрмитажа, и Володя вдруг говорит мне: Гена, я тебе завидую, ты прекрасно рисуешь, тебя все хвалят, ставят в пример, а я как-то в тени, меня не замечают. И я подумал, что если я доживу до тридцати лет и не прославлюсь как художник, то я покончу с собой. Мне не хочется жить просто так, как все люди. Я или повешусь, или отравлюсь, я не хочу быть простым художником, я должен быть только большим художником.

Я слушал его и понимал, что наша школа воспитывает не только будущих художников, не только специалистов своего дела, она ещё воспитывает фанатиков, людей, для которых, кроме искусства, нет в жизни больше никаких ценностей. Ни семья, ни любовь, ничто многих не волновало, кроме успехов в искусстве. Они стремились хорошо рисовать и в будущем быть выдающимися художниками, простыми художниками они себя даже не мыслили. Так было построено воспитание. Рядом находилась Третьяковка, где мы постоянно видели великие произведения искусства. И вот эти молодые, неокрепшие ещё души как бы уже были отравлены ядом соперничества за взятие вершин в искусстве, за покорение каких-то высот, а каких, они ещё и сами не знали.

У этой Гали Котельниковой (которая полюбила Алика Парамонова) была подруга Эльза Хохловкина, они учились в одном классе. Эти девушки, как и ребята, тоже стремились к выдающимся успехам и тянулись к тем ребятам, которые выделялись своими работами на выставках в школе. И вот Эльза однажды подошла ко мне и говорит: Гена, я хочу получше посмотреть твои акварели, ты не можешь мне их принести после уроков в пустой класс, где никто не занимается? – Я отвечаю: ладно...

Я собрал акварели свои и после уроков, как она говорила, пошёл в класс, где уже никто не занимался в это время. И Эльза пришла. Я начал ей показывать работы. Она смотрела, смотрела, потом спрашивает: а как ты проводишь эти зимние каникулы? – Я отвечаю: да никак... здесь, в интернате. – Она говорит: хочешь поехать со мной в деревню? Мы там порисуем, ты же никогда не был в подмосковной деревне? – Нет, говорю, не был. – Приходи ко мне завтра домой, и мы с тобой поедem на станцию Турист. Покатаемcя там на лыжах, а потом в какой-нибудь деревне попросимся переночевать и пожить. Поработаем над этюдами несколько дней, я посмотрю, как ты рисуешь. – Я говорю: Эльза, но у меня и лыж-то нет. – Она отвечает: об этом не заботься.

Она дала свой адрес на улице Дурова, это недалеко от метро «Проспект Мира» (раньше эта станция называлась «Ботанический сад»). И я пришёл к ней. Она познакомила меня со своим отцом, он работал инженером по угольным месторождениям и являлся лауреатом Сталинской премии. Сестра была у Эльзы. Я прошёл, посмотрел, все стены квартиры украшали работы Эльзы – в рамах, в рамочках, просто так стояли. За занавеской хранились целые штабеля подрамников с её холстами в рамах.



Удобрение для огорода

Мне было 15 лет, а Эльзе, наверно, 18. И когда она мне стала говорить, что вот поедем, будем там рисовать, то я как-то из благодарности, по-дружески хотел к ней подойти и её поцеловать. Но она отодвинулась от меня и говорит: ты только смотри не влюбись, а то всё испортишь. – А я улыбаюсь: да я уже влюбился. – Она говорит: это очень плохо...

Тем не менее тут отец приглашает: садитесь за стол. (На столе стояли и вино, и закуски особенные, и, конечно, богатая посуда.) Хозяйничала её мать, подавала вкусную горячую еду. Всё это было новым для меня, потому что я жил в интернате и не представлял, как тут живут москвичи. Хотя я и бывал у своей бабушки на Смоленском бульваре, но у них всё выглядело скромнее.

Эльза приготовила уже лыжи для себя и для меня. Попробовали надеть эти лыжи на валенки, валенки она мне дала. Крепления проверили. Потом всё связали. Она, видимо, ездила не первый раз, поэтому у неё всё было как бы на ходу. В рюкзак она положила всё необходимое и для нас, и для предполагаемых хозяев (гостинцы же надо было дать, прежде чем там ночевать или жить). Я говорю: ну, давай мне этот рюкзак. (И я надел на спину рюкзак.)

Мы сели на электричку, доехали до станции Турист. Вышли и пошли налево, там оказалась высоченная, хотя и пологая гора, пешком по ней можно было идти, но на лыжах уже нельзя, потому что катишься вниз. Эта станция Турист считалась зоной отдыха и всяких спортивных соревнований. Местность была очень красивая – с этой горы виднелась следующая гора, потом следующая, между ними находились впадины, потом шли какие-то перевалы, и всё это терялось вдаль. Какое-то необыкновенное было место, будто специально созданное для катания на лыжах.

Дошли мы до верха, встали на лыжи и поехали вниз. И вдруг у Эльзы на правой лыже лопнуло крепление, и она не могла дальше ехать. Я наклонился, стал ей поправлять это крепление на ноге, затянул, подтянул, в общем, сделал. И Эльза, видимо, настолько запомнила этот момент, что потом уже, после окончания школы, я на одной из выставок увидел её картину, в

точности изображающую всю ту обстановку – и стоящую на лыжах девушку, и поправляющего ей крепление юношу, и лыжников вокруг.

Поехали мы с ней дальше. Долго ехали какими-то перелесками, какими-то длинными аллеями насаженных берёз, и вот уже солнце село, стало смеркаться. Потом наступили сумерки, пошёл снежок, мы, конечно, уже стали замерзать. И видим перед собой деревню. Чуть ли не в первую же дверь Эльза постучала и спрашивает: можно у вас остановиться? Мы художники, из Москвы приехали. (Там женщина отвечает: пожалуйста, заходите, только тесно у нас.) Эльза достала продукты, угостила хозяйку, та была рада. Она поставила нам картошку горячую, ещё что-то, в общем, мы покушали и согрелись. И так мы сидели в этой уютной избе, валенки поставили сушить к печке, а потом хозяйка спрашивает: куда же мне вас положить спать? (Она видит, что мы как бы вместе, и подумала, что мы, наверно, жених и невеста.) И говорит: вот там комнатка есть и одна кровать большая, ложитесь туда.

Эльза ничего не сказала и легла одетая на кровать. Я тоже в одежде лёг. Лежим, молчим. А потом я свою руку как бы хотел на неё положить. А она вдруг резко говорит: все вы, мужики, такие, все вы одинаковые...

Это меня просто сразило. Её слова показались мне такими обидными, что я тут же вскочил, надел валенки, выбежал во двор и побежал вниз по горе... в общем, со мной случился какой-то приступ психоза. Я бежал не разбирая дороги туда, вниз, где были огороды с заборами из жердей. Побежал вдоль этих жердей, потом через поле побежал. И всё думал... как? Я такой же, как все? Как она могла сказать, что я такой же, как все? (В общем, я бежал и мысленно повторял эти её слова.) Потом я добежал до реки, которая была только наполовину замёрзшая, через неё нельзя было перебраться. Я сел в сугроб прямо под деревом, закрыл голову руками и горько заплакал. Всего меня трясло, я только повторял... значит, я такой же, как все, я такой же, как все...



Зимняя деревня

Потом смотрю – Эльза идёт. Принесла мне шапку и пальтишко моё. И говорит: Гена, оденься, оденься, успокойся, успокойся, пойдём обратно, не сиди здесь, вставай, ты простудишься. – А я ей отвечаю: нет, Эльза, нет... раз я такой же, как все, то я больше не хочу тут находиться. – Она говорит: ну подожди до утра. Утром я тебя провожу на электричку или вместе поедem в Москву.

В общем, я, шатаюсь, совершенно не соображая, где я, что я... хватаясь за жерди, побрёл наверх. И потом добрались мы до этой комнаты, и я лёг уже отдельно от неё, она мне там что-то постелила. Я, конечно, не спал до утра. А как только рассвело, она говорит: поедem в Москву. (Мы собрались и рано-рано утром уехали.) И больше потом мы никогда с ней вместе никуда не ездили, а она мне сказала: я не знала, что ты такой нервный, ты меня прости за мои слова. Но я хочу всё-таки поехать в эту деревню, поработать там. Я возьму с собой других ребят...

И она с двумя ребятами, скульпторами (Балашов и Красулин, два здоровых, крепких парня у нас учились), поехала опять в эту же деревню к этой же бабушке. Эльза там рисовала, не знаю, что делали они. А я, значит, не оправдал её доверия как товарищ. Вот такая у меня была первая влюблённость в художественной школе.

В общем, этот случай показывает, что девушки в нашей школе тоже были преданы искусству и высоким нравственным идеалам. Вообще-то девчонки учились и в младших классах, но на тех, которые младше, обычно внимания не обращаешь, замечаешь только тех, кто старше.

В одном из старших классов училась у нас Галя Шабанова, высокая девушка с длинными косами и с удивительно приятной улыбкой, она тоже как-то дружески ко мне была расположена. И однажды мне говорит: Гена, приходи ко мне в гости, я тебе покажу нашу квартиру, моего отца, мать, посмотришь, как живут москвичи. Приходи. (Она несколько раз приглашала меня в разные года на протяжении, пока я там учился.) Галя жила на Новослободской улице в большом доме сталинской постройки, там жили все выдающиеся патологоанатомы.

В огромной пяти комнатной квартире с высокими потолками у Гали висели какие-то немецкие картины в толстых золотых рамах. На одной картине был написан какой-то водопад, на другой стояли леса, горы вдаль, тут река, в общем, всё это изображалась немецкая природа. Наверно, эти картины были трофейными. Посреди комнаты наверху у них висела позолоченная люстра, по краям которой виднелись маленькие фигурки воинов с пиками и со щитами. А вниз спускались целые хрустальные каскады. Во всём ощущалось богатство. Вдоль стены стоял книжный шкаф с книгами её отца. Отец у неё был министр здравоохранения, и на столе у него находилась «вертушка». Галя говорит: это вертушка прямо к Сталину. (В случае чего её отца вызывал телефон, тут же прибывала машина, и он ехал в Кремль, он следил за здоровьем Сталина.) Вот такие у нас учились дети, такие были у них родители.

Потом Галя спрашивает: мама, чем мы Гену будем угощать? – А мама ей отвечает: сходи в магазин, купи ему конфеток шоколадных подороже. (Галя мне говорит: пойдём вместе.) И вот мы пошли в близлежащий гастроном. Зашли, и Галя спрашивает: каких тебе конфет купить? – Я отвечаю: Галь, да мне всё равно, я могу и совсем без конфет. – Она говорит: ладно, тогда взвесьте мне килограмм вот этих, килограмм вот этих, килограмм вот этих... (в общем, наговорила). Что было в этих стеклянных витринах – почти всё скупил, огромную сумку набрали. Она говорит: это всё тебе. (Я, конечно, был поражён её добротой и вниманием ко мне.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.